



На краю света

СБОРНИК РАБОТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
КОНКУРСА МАЛОЙ ПРОЗЫ
«ЭТНОПЕРО»

Министерство культуры Свердловской области
Свердловская областная межнациональная библиотека

НА КРАЮ СВЕТА

сборник работ
победителей и участников
Всероссийского литературного конкурса малой прозы
«ЭтноПеро»



ЕКАТЕРИНБУРГ, 2016

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6
Н 12

Н 12 **На краю Света** : сборник работ победителей и участников Всероссийского литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» / Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная межнациональная библиотека ; [составитель: О. Л. Сарафанова]. – Екатеринбург: ГБУК СО «СОМБ», 2016. – 168 с.

Не секрет, что невозможно создать литературу не связанную с национальным языком, культурой и литературой – без самобытных национальных черт не может быть художественной словесности.

Значительную актуальность сегодня обретает вопрос о необходимости развития национальных литератур народов России, поощрении авторов литературных произведений, способных внести значимый вклад в популяризацию истории и культуры народов России, развитие межкультурного диалога в нашей стране. Поэтому вполне логичной стала поддержанная Министерством культуры Свердловской области инициатива Свердловской областной межнациональной библиотеки провести в 2016 году Всероссийский литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро».

Сегодня все чаще нам приходится говорить о необходимости многоплановой работы по сохранению и развитию межкультурного диалога, гармонизации межнациональных отношений, поэтому целью литературного конкурса «ЭтноПеро» стала не только поддержка и популяризация этнокультурной тематики в современной российской литературе, но и формирование уважительного отношения к представителям различных национальностей, проживающих в Российской Федерации, профилактика экстремизма и различных форм нетерпимости.

В сборнике «На краю света» представлены работы, вошедшие в шорт-лист Всероссийского литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро», в том числе три работы победителей.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© ГБУК СО «СОМБ», 2016
© Сарафанова О. Л., составление, 2016
© Коллектив авторов, тексты, 2016



СОДЕРЖАНИЕ

– Вступительное слово.....	4
– Аннотация 1.....	9
– Шалашова А. Е. «Хлопок цветет обочиной».....	10
– Аннотация 2.....	29
– Зайпольд Г. В. «На краю Света».....	31
– Аннотация 3.....	46
– Волкова С. В. «Золотой цыплёнок».....	47
– Герман С. Э. «Солдатская мать».....	63
– Иванова В. Л. «Солнце над тундрой».....	79
– Иванова О. П. «История Софы».....	103
– Иванова Я. Б. «Хозяева тайги».....	125
– Капустина Е. И. «Лесная дева».....	132
– Чернов С. В. «Река и ее берега».....	136
– Шашорин В. В. «О бедном варнаке».....	150



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Визитной карточкой этого сборника можно назвать мифы, легенды и предания народов России, представляющие их историю и самобытную культуру. Загадочный, таинственный, экзотичный мир этих рассказов населяют колдуны, чудовищные великаны и мифические герои, в нем обитают нойды, лесные девы и «пчелоподобные духи с тёмной стороны Луны». Это «сказы о боли и вечной любви», «славных битвах старых дружин», в которых слышатся тайные звуки шаманских камланий.

«Что видит долгими зимними ночами суровый русский Север?» — задается вопросом автор рассказа «Лесная дева» Евфросиния Капустина. Кто там — в «снах сурового русского Севера на зелёном покрывале тайги»? Может быть, пляшущие деревянные куклы или страшная птица-смерть из провидческих снов старика Хархута?

Хархут — центральная фигура одного из самых поэтичных произведений этого сборника — «Река и ее берега» Сергея Чернова. Властитель народов, дед всех шаманов и дед-всехотцов, он родился неизвестно когда (да и родился ли?), и жить он будет, казалось бы, вечно, как и положено легендарному прародителю из Народа Полыни. Не знающий страха Хархут бросает вызов смерти, но не заслужил бессмертия даже он. Не обмануть видений и не спрятаться, но мудрый старец плетет струны своего кобыза; его рвущиеся наружу звуки раздирают душу, и Хархут уносится туда, где «кости великанов превращаются в горы».

Мифологемы пронизывают все повествование. Это и Мать Степь — древний архетип матери-прародительницы, и мутные



воды реки, непостижимо символизирующей одновременно и жизнь, и смерть.

Словесная ткань рассказа буквально околдовывает, завораживает читателя, кружит в неистовом вихре ханских огней и дыму магического костра. И в этом мрачноватом в своей философской глубине произведении рождается «радость цветка, растущего к солнцу».

* * *

Еще один жанр, благодатный для этнографического полотна малой формы, но стилистически далекий от предыдущего, — публицистическая зарисовка. В этом сборнике он представлен очерком Яны Ивановой «Хозяева тайги». Здесь мы будто проживаем вместе с автором день за днем месяца в обществе нивхов — коренных жителей острова Сахалин. Возможность чудесная: где еще вы попробуете мос — сладкий студень из жира нерпы, отвара на основе кожи горбуши и ягод, пособираете медвежий лук на влажных лугах и накормите духов воды муви?..

* * *

Есть рассказы, которые, на первый взгляд, не связаны напрямую с этнической тематикой. Таков рассказ Гузель Зайпольд «На краю Света». И в самом деле, для русского читателя национальный колорит выступает наиболее выпукло в текстах, связанных с темой «малых» народов, повествующих об их обычаях и нравах, представляющих их историю в легендах, сказаниях и мифах. Достаточно сложно в этом контексте для нас, носителей русской культуры, привычных к своим именам, бытовым реалиям, культурным феноменам сделать ее осязаемой.

Представляется, что это вполне удастся автору рассказа, давшего название этому сборнику. Щемящее чувство ностальгии и светлой тоски не покидает еще долго после его прочтения.





Сначала слышишь колоритный говорок бабушки Ефросины Шёрсткиной, потом заглядываешь в ее деревянный окованный ларь, в котором лежит «одёжа — смёртное» в последний путь да «ляминивый» крестик на суровой нитке.

А знали ли вы, что на Руси «в старину уважительно относились к пуговицам, берегли их как зеницу ока, пришивая только к самым лучшим нарядам?» Что «пуговицы в те времена были и украшением, и «от сглазу», и оберегом от чёрных котов, да и от прочей нечисти тоже. Нужно было только покрутить незаметно пуговку на груди. А уж коли выпадала удача найти где-нибудь пуговицу, то это считалось везением к огромному счастью»?

Затем узнаешь, что бабуличка заменила «далекую бабушку» маленькой девочке «из националок», потому что она «по душе — русска девка». И, наконец, слышишь от этой неграмотной бабушки слова, философскую глубину которых не всякому дано понять, слова о том, что все люди «молятся тому же Боженьке, токма иначе».

А чтобы окончательно убедиться в том, что диалог культур в этом рассказе состоялся, стоит еще раз посмотреть на имя автора.

* * *

Особую группу текстов, вошедших в сборник, составляют рассказы военной тематики. Война становится ситуацией «встречи» национальных характеров, той катастрофой, перед которой меркнут предрассудки и стереотипы, разделяющие людей на «своих» и «чужих» в национальном и религиозном плане. *Сваи* здесь — не русские, немцы, узбеки, цыгане или чеченцы, а мать, спасающая чужого сына; многодетная семья, дающая приют незнакомцам, которые становятся затем почти родными; случайный прохожий, не дающий умереть младенцу,





чужеземец, вызволяющий из плена детей.

«Мое дело сторона», «моя хата с краю», «он не нашего приходу» — все эти русские поговорки не о героях рассказов «Солдатская мать» Сергея Германа, «Софья» Ольги Ивановой, «О бедном варнаке» Владимира Шашорина, «Солнце над тундрой» Вероники Ливановой, рассказов, в которых милость смиряет, а сердце сердцу весть подает.

* * *

Но еще более катастрофичным становится мироощущение человека, когда рушится мир без пулеметных очередей и взрывов бомб. Загнанная в угол «мирным» временем узбекская женщина, которой «незачем идти домой» (что может быть страшнее?) — героиня рассказа «Хлопок цветет обочиной». Рассказа, который не хватает духа прочитать второй раз.

Стиль автора — жесткий и хлесткий, даже беспощадный в своей минималистичности, своего рода «стиль айсберга», создающий невероятное напряжение между строк, — вот что сразу ошеломляет читателя.

Рассказ поражает тем самым гармоничным слиянием формы и смысла, которое, безусловно, отличает талантливое произведение. Тем единством, в котором слово не воспринимается само по себе, в своей фонетической оболочке или лексическом значении, а предложение бежит от «цели высказывания» и своей грамматической сущности — текст буквально пронзает страшной правдой, как оголенными проводами.

* * *

С этим ощущением безысходности контрастирует настроение рассказа «Золотой цыпленок». «Позитивное межэтническое взаимодействие» — так официальным языком можно обозначить его тему. Слово «позитивный» не выходит



из головы во время чтения этого рассказа. Но им не передать колорит словесной ткани текста, пестрого, как узбекский ковер, наполненного ароматами восточного базара и женскими именами, будто пришедшими из сказок о тысяче и одной ночи.

Изображение мира глазами ребенка — прием, имеющий давнюю традицию в литературе. Русские писатели обращались к нему в разное время, пользуясь возможностью представить окружающий мир в неожиданном свете через свежесть детских впечатлений, сквозь нестандартное восприятие наивного сознания.

Такой прием использует и автор «Золотого цыпленка» Светлана Волкова. Для ее героя — маленького русского мальчика, попавшего волей судьбы в узбекскую семью — «солнечные, яркие, слепящие, как фонтанные брызги, детские воспоминания» о военном Ташкенте и послевоенном Ленинграде — это прежде всего воспоминания, связанные с запахами. Встреча двух культур для него — это контраст родного запаха бухарских лепешек и духа горящего металла.

И только имена и тонкие неуловимые ароматы примиряют этот контраст, когда Нила-Нилуфар делает чужой город родным, и запах кунжутного масла уносит за собой Диму-Динара в город с другой планеты, в котором дома не запирают на ключ, где-то между Ташкентом и Ленинградом, у черта на куличках и у Христа за пазухой, на границе земли и неба; туда, где живут рядом русские, нивхи, долганы, саамы — на краю *света*.

Ольга Сарафанова



ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА МАЛОЙ ПРОЗЫ «ЭтноПеро» I МЕСТО

Стиль автора — жесткий и хлесткий, даже беспощадный в своей минималистичности, своего рода «стиль айсберга», создающий невероятное напряжение между строк, — вот что сразу ошеломляет читателя рассказа. Рассказа, который не хватает духа прочитать второй раз.

А дальше — катастрофичное мироощущение человека, когда рушится мир без пулеметных очередей и взрывов бомб. Загнанная в угол «мирным» временем узбекская женщина, которой «незачем идти домой».

Рассказ поражает тем самым гармоничным слиянием формы и смысла, которое, безусловно, отличает талантливое произведение. Тем единством, в котором слово не воспринимается само по себе, в своей фонетической оболочке или лексическом значении, а предложение бежит от «цели высказывания» и своей грамматической сущности — текст буквально пронзает страшной правдой, как оголенными проводами. С трудом веришь, что автору всего 25 лет...



ШАЛАШОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА

Хлопок цветет обочинной

(рассказ)

Она идет к служебному входу. Тропинка зимой заметная, нескорая. Тут ходят и уборщицы, и продавцы, и повара. Тянутся к восьми. Кому и раньше.

Она сегодня в розовой растянутой водолазке под халатом от формы. Им хозяйка на складе купила одинаковые — голубые, велела раз в неделю стирать и крахмалить. Он замечает тоненькие грязные рукава. В потолке горит дневная лампа.

— Сонечка, хочешь?

Протягивает винегрет в пластиковом контейнере. Свежий, без капелек масла.

— Спасибо, — с трудом. У нее золотые коронки. Еще один зуб — почти не видно, черный; золота не хватило. А здесь к зубному пойти никто не уговорит, да и сама не пойдет. Зубной — три тысячи. Три тысячи она получает за двенадцать смен. Потому и не пойдет.

Пробует салат. Глаза карие: улыбаются. Ест медленно. Он ей каждый день — да не с витрины, где лежит по полдня, а сам кубиками режет — на отделе всегда выбор в десять-двенадцать салатов, иначе нельзя. Сонечке почти всё приносил. Она вначале отказывалась, улыбалась в лицо, но потом он закричал и бросил три закрытых еще, хороших салата в мусор. И повторил, что все равно будет выкидывать, если она не будет. Уж он-то сделает.



Тогда она согласилась.

Сказала хозяйке, что не может раз в неделю стирать и крахмалить халат, что нечем; и как, не знает.

Миша услышал — взялся. Мол, попросил кого. Несложно, а не будет же Соня в мятом работать. Не дело. Миша давно в магазине. Так они и познакомились. Ей было стыдно, что он и впрямь в понедельник принес ей чистый.

Она одна не надевает перчаток. Он замечает и это.

— Порошок для кожи плохо. Надевай лучше.

— У меня на посыпку...на тальк...на белое это — красные пятнышки. Не пойму, — говорит она. Она хорошо говорит.

— Аллергия? Это как у моей на вино. Выпьет — вся в пятнах. Может, тебе другие принести? Синие?

— Нет, так...мне так лучше. — Она берет тряпку — ворсистая, неясного цвета, белая с разноцветным — опускает в ведро. В ведре тряпка сразу же расползается, раскрывается, как чайный листок. Ее руки в воде. Сквозь тряпку и горячую из-под крана — не красные, без пятнышек пока; и без колец. Пальцы ничего не перечеркивает. Но она снимает обручальное, в карман халата кладет — боится.

— Миша!

Это ему кричат.

— Сейчас, — говорит он. Соня уже выпрямилась, наматывает тряпку на швабру — руками прямо.

— Я мыть буду, — Соня отодвигает табуретку за кассой. Он с ноги на ногу переступает, он без халата, потому что уборщиц видят, а его — нет. У него серая футболка. Она выпрямляется не сразу, ждет слишком долго, наклонив голову — он видит поддельную черепаховую заколку в чёрном пучке.

— Чего с тобой?

— Голова кружится.

В самый Навруз он уехал на работу в Бухару.

А отмечали так — ходили целый день по знакомым и родственникам, даже можно было в больницу к отцу прийти — там какое-нибудь отделение да гуляет в очередь. Больные садились к столу. На столе виноград. На улице — казан. Кто хочет, тот и подходит. Баранины весной нет, это всякий знает, даже вон ее Акрам с детства. А пшеницу для сумалака замачивают за три дня, чтобы она стала сладкой и пустила тонкие зеленые стебли... Новый год был три дня — ее настоящий, какой и бабушка праздновала, а не тот, что стал в социалистической республике. Но помнить уже нечего.

Двадцать второго марта выходила техника в поле — сеяли хлопок.

В сентябре будет поле белых пушистых коробочек, куда ни посмотри. Тогда Соня наденет длинный фартук и пойдет со всеми. Тепло с неба, дождей пока не бывает, и техника только в последние годы появилась — а раньше ходили сами.

Был белый горизонт до самых больших городов. И все хлопок. Вовек не соберешь столько, хоть всем селом выходи. Только складывай коробочки — белые комочки в фартук.

Какой формы зернышки? Какие у растений на огороде — она знала.

Ее Акрам больше не говорил по-русски.

— Мама, вы пойдете в дом к бабушке?

Она шла. Там тоже был казан и улыбались все. А Наргиза, мать ее мужа, хотела, чтобы она не бродила зря по улицам — толку подолом пыль мести. Ее Акрам слышал, но заступаться не хотел. Ему было уже тринадцать.

— Ты бы лучше ждала дома Акмаля. Он домой придет — а там не приготовлено ничего. А жена на улице, — у Наргизы



золотые серьги с топазами, еще в шкатулке — она знала — иногда даже давала внукам играть. Те перебирали красивые камешки, открывали маленькие замочки, смотрели через хрусталь на свет. Акмаль работал в Бухаре — три часа на попутке. Раньше у него была своя машина, но разбилась, треснуло стекло, разлетелось брызгами. Она один раз села с ним до колонки — обратно все равно с ведрами пешком, потому что грязную в машину Акмаль ее не посадил. А там глина, земля мокрая. Так и сиденье испортить недолго.

Шла с ведрами до дверей, поскользнулась. Акрам потом догнал один. Хотя муж не велел помогать. Говорил — сама крепкая, и всего-то два эмалированных ведра с гнутыми ручками — в пальцы врезаются, прямо в кольцо. Кольцо золотое. Она на ночь не снимает, потому что боится, что Акмаль унесет куда-нибудь из дому и продаст. Эдаких друзей Соня видела: когда сидят вечером на скамейке под виноградным навесом, тянутся пальцами к незрелому винограду, давят ягоды, смотрят на кислый сок. Давят от скуки. Её провожают скучными глазами — уже тридцать два ей, а по халату — так и того больше. Акмаль с ними пьет и кричит. А потом встает на работу.

От колонки шагов шестьдесят.

И все же Акмаль возвращается в дом матери, а не на проспект Ворошилова. Братья сразу обступают, а Наргиза несет графин с водкой. Она к нему — как к мужу, он кланяется смешно перед водкой, кидает кепку. Ловит ее руки с подносом, но Наргиза вырывается, подхватывает подол в люрексе.

— Здесь? — он ей теперь сумку кидает.

Наргиза выносит пластиковую тарелку — пробуй, Акмаль. С утра ходила на рынок за луком, морковкой, а мед свой. Потом кунжутом посыпала, прятала вялые виноградины глубоко под пшеницу, на дно, а то этой твоей ни за что такого не приготовить.



Стоит вон, в юбке городской, короткой. А должна варить со всеми сумалак. Его только женщины варить могут.

Дома Акмаль включил телевизор. Купил недавно, еще не привык к яркому.

— Подойди, говорю.

Она встала.

— Почему дома у матери в короткой юбке ходишь?

— Не короткая она.

— Люди что скажут, не подумала? У Акмаля жена — уличная?

Он ее тогда не ударил. Тогда все слышал Акрам в соседней комнате. А ему уже четырнадцать, а ростом в отца, кулаки тяжелые, и скоро будет черная щетина до глаз.

Когда хлопок зацвел в четвертый раз, Акмаль велел сыну сесть перед ним на стул и помолчать немного. Собирался с мыслями, долго сплевывал едко-зеленый насвай. Пах затхло, заброшенными углами большого дома.

— Сын, люди едут. Завтра машина будет. Так как?

— А что там будет?

— Работа есть, жилье. Дом строят, будем жить рабочими — в домиках, в бытовках. И заработок хороший. Я бы один не поехал, но тебе ж жениться скоро — всем скажу, какой сын. Сам себе на свадьбу заработал.

— Да я не умею строить. Я...

— Дурак! — крикнул Акмаль. Ударил ладонью по скамейке, — кому ты после техникума нужен! Медработники кому сдались! Скоро жрать будет нечего!

А Акрам на фельдшера пошел после девятого. Просто так. Акрама предупреждали — толку с учебы, все равно поедешь — как дядя, как многие из поселка, на стройку. Будет большая стройка. Дом на двадцать этажей.

— Хорошо, — сказал сын, — хорошо. Когда, вы говорите,



нужно ехать?

Акрам собирался к поезду. Он взял с собой черный спортивный костюм и очень теплые, купленные в Самарканде ботинки — все знают, что зимой в Москве холодно.

— Зиру возьми. Мешок. Говорят, на водку можно обменять.

Соня их слышала. Из соседней комнаты, стены тонкие, как из тетрадки. И тоже стала собираться, хотя ее никто не звал.

В Москве не знали хлопка. Видели, гладили руками по ткани, носили летом на футболках, но никто никогда не видел, как он цветет.

* * *

Вчера сгорел обогреватель. Стоит посреди комнаты, черный — не выбросить, потому что напустишь в комнату холода, и Акмаль станет кричать. За стенами гаража снег и дождь вперемешку, но в той куртке, что давным-давно отдала женщина в парке, холодно. Это всего-то ветровка, и Соня дома ее не снимает. Даже набрасывает байковое одеяло на плечи, если Акмаль не выхватывает — из рук, к себе.

Железные стены изнутри в изморози, ведь нет машины, которая могла бы все отогреть. Соня пытается развести костерок — накидала щепок под кирпичи, щелкнула зажигалкой. Не загоралось долго, дым — не то пластмасса какая попала, не то ткани кусок.

Акмаль встал.

— Ты чего это делаешь, сгореть хочешь? Задохнуться? Иди на улицу и костер свой там делай. Готовить все равно надо. На, — швырнул ей тушенку. Коровья голова нарисована. Еще половинка батона. Но это он ей никогда не даст.

Гараж стоял пустым, но он бы все равно не решился — какие-то приятели рассказали. Даже принесли раскладушку и всякие старые мягкие игрушки с помойки. Соня застелила раскладушку



привезенным с собой покрывалом и посадила игрушки вокруг. У серого медведя не было второй стеклянной пуговицы.

Она закрывает от дождя металлическим листом. Костерок никак не загорается – тогда она выливает бензин из зажигалки, хотя пока неоткуда достать вторую. Тушенка греется в кастрюле с супом. Вчера были простые макароны, и за это он ударил ее во второй раз. Про первый она не помнит. Может быть, это давно было, еще до Москвы.

* * *

В магазине ей дали две тысячи. Хозяйка вышла и отдала. Сказала – вот, спасибо тебе, а больше можешь не приходить. Соня спросила. Проверяющие приедут скоро, налоговая, понимаешь. А ты без трудовой, безо всего. Две тысячи – много ведь, больше нигде не дадут, правда? А многие бы вообще с тобой разговаривать не стали.

Соня сама купила сюда швабру, потому что с тряпкой наклоняться тяжело. Вначале хотела пройти мимо хозяйки в подсобку, забрать – ведь она же покупала, на свои деньги, на рынок ходила – но хозяйка подумает... Соня хотела объяснить, но почему-то русские слова разбежались с языка, потерялись.

Хозяйка ждала. Сама из Таджикистана, но давно – стоит в ярком платье, смотрит, чтобы Соня больше никогда не приходила.

Тогда Соня ушла. У нее в кармане две тысячи – зеленоватые красивые бумажки.

Когда она поднималась по лестнице – высокая, длинная лестница, а как тяжело было мыть каждую ступеньку, наклоняться, гнать тряпкой грязь к порогу – вдруг как-то неожиданно и необычно закружилась голова. Соня зажмурилась, схватилась за перила. Перед глазами точно муку рассыпали, стены в белых точечках.

А хозяйка внизу все стояла, ждала. Молчала, красная заколка



в виде цветка в волосах.

В голове успокоилось, и Соня вышла на улицу. Там сразу же стало холодно, продувает тонкую джинсовую куртку насквозь. А по рукаву еще плохо пришитая заплата, нитки торчат, а под курткой — футболка из искусственного хлопка, который здесь почему-то везде. И под заплату ветер задует тысячи и тысячи снежинок. Аллах знает, как холодно тут в феврале.

За две тысячи можно купить теплую куртку, это она знала. А за тысячу? Тогда останется на консервы вечером, и принести Акраму на стройку. Акраму скоро заплатят. Много. Он говорит, нужно только чуточку потерпеть.

У Акрама оказался вовсе не дом, хотя Акмаль и говорил про двадцать этажей, про оранжевую краску. Домик маленький, там будет жить и всего-то одна семья. Мужчина с толстым животом и маленькая красивая женщина. Дом на берегу грязной реки с воткнутой в берег ржавой трубой. Соня тогда приехала, привезла сыну вареные макароны в банке. Думала, не возьмет, прятала в полиэтиленовом пакете; но он взял, даже с каким-то другом делился. Ну — не с другом, с русским одним. А Соня думала, что так русские не работают.

Спросила потом.

Пьяница, больше ничего не умеет, только стены красить. Как двадцать лет назад научился, когда и в Москве работы не стало. А был не то учителем, не то еще кем. В бригаде не разговаривает, но это потому, что ребята плохо знают русский. А он, Акрам, еще в школе выучил. Ну не выучил, так. Да и здесь за эти месяцы пообвык. А русский обрадовался, спросил, кем стать хочешь. Акрам ответил, что вернется и доучится на фельдшера. Ну и обрадовался же русский. Говорит, давай выпьем, раз такое дело.

Так вот в феврале живут они на каком-то холодном складе



неподалеку. Акрам кашлял так в последний раз, раскачивался, себя руками обнимал.

И тогда Соня решила — вот когда заплатят в магазине, куплю ему куртку. Вот когда голова перестанет кружиться, совсем легко станет, не холодно даже почти — пойду на рынок. А сама в джинсовой. Ведь от их с Акмалем гаража — каких-то полчаса до работы дворами, замерзшими камешками. А теперь до работы еще дальше будет, потому что нужно искать снова.

Соня боялась убирать две тысячи в карман. Карманы могут быть и дырявые, а в ладони надежнее — дойти до рынка, пройти переходом, остановиться у первой попавшейся продавщицы курток. Не покупать, спросить. Вон за ту черную, мужскую — три девятьсот? Слушай, подруга, у меня только две. Очень нужно. А за две отдашь? Но если не отдаст, можно дальше бродить по всем рядам — ведь обязательно найдется та, что стоит две. А эта синяя — почему? А эта?

У выхода из перехода стоит милиционер. У него новая черная форма. Соне всегда от таких страшнее, чем от тех, что старую остались носить, серую.

Обычно он смотрит на ларек, но сейчас почему-то следит за ней взглядом, смотрит. Она кулак с деньгами сжимает в кармане.

— Стой. Документы.

Акмаля так раз останавливали, но она привыкла, что только мужчин, только черноволосых с большими сумками. А ее можно даже принять за русскую, но милиционер все равно загораживает проход между палатками.

— Дома...дома оставляла паспорт, регистрацию, — поднимает на него глаза.

— Понятно, — скушает, смотрит на витрину пивного ларька. Ему наверняка хочется пиво или сосиску в тесте. — Штраф тогда.



Соне стало весело — он не кричал, не надевал на нее наручники и не тащил за собой, как всегда показывают в новостях. А просто штраф. Акмаль тогда тоже быстро домой пришел.

— Сколько штраф?

— Ну две давай. Не буду тогда бумаги писать.

— Две? Две — двести рублей, да? — у нее не было. Только бумажки в кулаке.

— Какие двести рублей, сдурела, что ли. Откуда взялась? По закону две тысячи штрафа плати.

У милиционера толстые, синеватые от ветра губы. Они шевелятся некрасиво от разговора.

— У меня нет...я только недавно, я еще не работала!

— Все вы так. Никто не работает, вы вообще к нам не на работу едете, а виды смотреть. Не надоело? Ну что, в отделение пойдем? Ждать, пока твой муж паспорт принесет?

Кулак Сони разжался. Деньги были измятые.

— Ну вот, так-то оно лучше, — прячет во внутренний карман, оглянувшись на дома, на прилавки, — протокол тогда не делаю. Иди, куда шла.

Соңя пошла обратно.

* * *

Акмаль принес от дружка плов. Без мяса, но такой, что, если разогреть — будет пахнуть в гараже виноградом, обвиняющим стены белого кирпичного дома, хлоркой в окнах техникума, куда ходил сын, и даже сладкими тяжелыми духами Наргизы.

Акмаль грел плов прямо в гараже, потому что из-за снега не выйдет по-вчерашнему развести костер.

— Деньги дали? — размешивал столовым ножом масло и морковь.

— Нет. Сказали — еще две недели отработаешь, тогда дадим. Вот так сказали.



— Повар твой этот сказал, да? От которого твой винегрет
вонючий по выходным? Да?

— Миша не говорил, он просто готовит там — сосиску в
тесте, котлеты...

От кастрюли запахло теплым.

Он стал смотреть на нее, потом толкнул.

— Дура. На тебя еще хлеб тратить.

* * *

До Акрама ехать на электричке, станция Красково. А вначале
стоять у касс, собирать мелочь на полу. Билет почти шестьдесят
рублей, и ей долго не хватало — но люди роняют, забывают
сдачу. Вначале Соне было стыдно брать, но тогда прямо под
руку метнулись цыганские девочки, перехватили.

Соня промолчала, отступила от кассы. Младшая девочка —
грязная кожаная куртка на вырост, золотая сережка-капелька —
хмурит черные гладкие брови:

— Дура, — говорит она по-русски.

Тогда Соня поняла, что нужно уходить.

Мелочи хватает — как раз доехать до Акрама, но ему уже
должны были дать деньги, он даст ей не только на дорогу, но
и чтобы по своему паспорту сразу Наргизе отправить. Муж
объяснил, что так надежнее, потому что в Москве наверняка
украдут, пусть лучше будет дома.

Ей страшно жаль, что с ней нет куртки Акраму. А по дороге
бы сама надела — поверх. Двадцать второе марта, но снег не
тает, лежит грязными сугробами, а иногда — белыми, вдоль
желтого льда. У реки Акрам строит кому-то дачу.

Он словно меньше ростом. На воротах свитера хлопья
штукатурки.

— Вы зачем приехали, мама.

А сам смотрит на ее пустые руки. Ничего. Ни даже пакета
с хлебом.





— Я сказать, чтобы ты тогда зарплату отцу передал, он домой на счет положит. А еду я тебе стану потом возить.

Акрам стоял тихий. Он подул на замерзшие сквозь перчатки пальцы. Соня хотела подойти, но он выставил вперед руки, как защищаясь.

— Мама, понимаете, мне в этом месяце не дали пока. Тот мужик приехал с друзьями, привезли тем, кто давно работает, понимаешь. А нам сказали — еще месяц, привыкнуть. Еще к работе не приучились. А через месяц все разом выдадут, много. Тогда и отправим.

Соня постояла с ним немного и пошла на станцию.

Здесь кассы всего две, и людей нет, только у расписания электричек стоит толстая собака. На полу не валяются монетки, но у Сони нет на обратную дорогу.

Дорога для машин ведет к Москве почти так же, как железная, прижимается к зеленому металлическому забору, разрисованному черным и цветным.

Соне не кажется, что пешком будет слишком долго. В окнах электрички быстро сменялись названия станций.

Черная собака вначале хотела бежать за ней, но дверь на станции из тяжелого стекла.

Соня шла, руками придерживая у колен полы джинсовой куртки, и у земли неслась снежная крупка.

По обочинам стояли травы и заросли огромного борщевика в снегу — пушистые белые комочки.

Соня подумала, что как же не знала раньше, что здесь тоже собирают хлопок.

А потом, где дорога брала вверх и становилась мостом над другим поселком, у нее опять закружилась голова. Соне захотелось лечь и не идти больше никуда и чтобы над головой было хлопка вдосталь и лучи горячие. Вместо лучей ей кажутся гаражи и уличные собаки.



— Эй, мать, вы чего?

Останавливается девятьсот двадцать пятым, тормозит с пассажирами. За рулем земляк — куртка новенькая, кожаная. Таковую бы Акраму. Она думает, он впускает её на место рядом с собой, закрывает дверь, чтобы никто больше не залез. Повторяет:

— Вы чего? Куда надо ехать?

Соня говорит, что домой, в Люберцы. Никакая она ему не мать. Он, может, и не старше, но у Акрама её кожа нежная, девичья. Пока в Москву не переехали — была.

Земляк высаживает её в Люберцах, у стадиона. Не на остановке, а возле парка, чтобы ей до гаражей дойти скорее.

— А что мы девку должны твою ждать, пока она выйдет? Ишь, королева какая.

Говорит кто-то в салоне. Женщина тоже. Соня не видит. Соня открывает дверь грязными пальцами. Земляк ей и платков бумажных дал, и воду. И свою рубашку теплую — что, мол, просто так на рейсе с собой таскать. Надень, погрейся. Потом отдашь, встретимся.

Соня понимала, что не встретятся. Потому что сколько дорог в Люберцах — со счета собьешься.

Акмаль в мужской рубашке увидит.

Соне не хочется в гараж.

Из-за рубашки, от воды из теплой бутылки, да еще от теплой маршрутки и половинки «Сникерса», что в карман положил земляк, Соня идёт до гаражей медленно.

Кругом гаражей — заросший собачий парк.

Собаки возле Люберец шныряют по парку, не нападают никогда. Соня пару раз относила им пшенку с остатками фарша (ей Миша отдавал, говорил — хороший фарш, не буду его второй день на витрину ставить, как списанный проводу — и точно: проводил, а она оказывалась с хлебом и мясом). Еще Миша вечно домой её звал — но там женщина; русская женщина, его жена.



Они просто так живут, но она ему жена.

Соня не хотела идти.

Сейчас бы пошла.

В парке шум. Соня останавливается и смотрит.

В деревьях скулит белая собака. Маленькая, щенок. Вчера ночью в парке стреляли — Соня не вышла из гаража. Думала — их. Оказалось — собак.

Стреляли, ушли.

Белая собака осталась.

Женщина в вытянутой вязаной шапке и чистой длинной шубе стоит над собакой, выманивает:

— Ты ж моя хорошая, ты ж умница...

Женщина хочет, чтобы собака вышла.

Соне страшно, но Соне страшно жалко собаку. Скулит. Ранили ночью. Соня подходит к женщине, старается выговаривать слова правильно и громко:

— У него лапа болит, его подстрелил вчера...

У женщины из-под шапки — длинные крашенные волосы, без седины. Женщина пожилая, за шестьдесят ей. Губы в морковной помаде. И отчего-то норковая шуба, как будто это было когда-то для неё важно.

— Вы видели, кто подстрелил?

— Не видела, кто... Ребята балуются. Это твоя собака?

— Это уличная. Но я их кормлю. Тут стоя, — женщина смотрит на собаку. Собака не скулит — затаилась. — Мы её в ветеринарную хотим повезти. Моя дочка такси вызвала, сейчас приедет... Только как её из кустов достанешь. Вы не поможете?

Соне снова холодно. Соня боится собаки. Но в гараж еще страшнее идти.

— Я помогу, да... Я только замерз. Замерзла.

Женщина смотрит на Соню впервые после собаки.

— Да вы хотите — помогите нам, поезжайте потом в такси



вместе с дочкой. В машине тепло, а дома — я холодец сделала — три кастрюли, так не ест его никто...Вы будете холодец?

Соне обидно, что жалеет даже старая женщина в растянутой шапке. Но Соне хочется в такси.

Собака незлая, но испуганная. Соня руки кутает в желтый шарф женщины, чтобы собака не укусила. Из кустов достали, Соня стоит, прижимает к себе мордой и шеей, а женщины лапы придерживает, чтобы не болтались.

На такси приезжает девочка в короткой черной куртке. У девочки светлые волосы, коротко остриженные не к лицу. Соню бы спроси — так отращивай длиннее, чтобы красиво стало. Девочка сидит с Соней на заднем сиденье, держит собаке голову.

— Хоть бы предупредили, что с собакой.

Таксист.

— Я боялась, что тогда вы не поедете.

— Я бы поехал. Я бы тряпку из багажника достал.

— Извините.

Это девочка.

В возрасте девочки Соня была замужем давным-давно, да и Акраму было лет пять. А здесь, в Люберцах — девочка.

Соня вытаскивает собаку из такси. Девочка отдает водителю деньги — Соня старается не смотреть на деньги; она только мелочь привыкла в руках держать, в кармане перебирать.

Потом Соня кладет собаку на покрытый клеенкой стол.

Потом они с девочкой выходят, а девочка плачет на диванчике у входа. Ветеринарная больница маленькая совсем, в один кабинет. А в карту записывала девушка с цветными нитками в волосах. И вся больница. Соня понимает, что женщина с морковной помадой велела им везти в такую, потому что дешево, дешевый прием. Ведь приехали к собаке только женщина с дочкой — ни о каком муже и папе не поминали даже.

— Не плакай лучше. Лапа отрезать — ничто, она и на трех





побегают. Уличная, оно ей и лучше — её жалче; никто не тронет больше.

Девочка больше плачет. Ветеринар говорит, чтобы приезжали завтра и привозили три тысячи за операцию. На ночь собаку бесплатно оставят. Они ведь тоже не.

— Вы поедете? Мама так сказала.

— Не, я домой, меня дома ждут...

Она хочет сказать — муж ждёт — но не получается.

Они едут на электричке станцию, потому что без собаки, в подъезде стоят банки с окурками и строительный мусор валяется, а в квартире девочка говорит — Альма, фу, вы проходите, она смиренная, не укусит. Вторую собаку девочка запирает в ванной. Лает. Но Соня и ненадолго.

Соне странно быть в чужой в теплой квартире.

Что скажет Акмаль?

Что только скажет Акмаль.

На кухне пахнет жареной в сковородке капустой. Пол в черной шелухе от семечек, а диван застелен покрывалами с вытертым рисунком. На покрывалах кошачья шерсть, и покрывала кошками пахнут. На кошек бы Акмаль сказал, что ну их к бесу. Кошки желают хозяину несчастья. Чтобы внуков у хозяина не было. Так бы Акмаль сказал. Но Соня от тепла забывает думать про Акмалю.

Женщина крутится в кухне.

— Соня, вы будете картошку? Я только отварила.

Женщина кладет на одну тарелку картошку, неровно порезанный сыр, холодец. Пряники «Красная цена» достает. Вкусные. Шоколадные.

Соня стесняется есть.

— Да вы нам помогли так! Я бы беленькую нипочем одна не вытасила. Я хоть как могу — вам спасибо.



Женщина достает маринованные помидоры.

Соня плачет.

Женщину зовут Любой. Она кормит собак в парках и возле магазинов. Она работает на складе — и там у неё стоя; но там парни-грузчики помогают кормить, когда не может или выходная. Хорошие парни — из Узбекистана тоже вроде. Люба не разбирала.

Соня встает помыть руки — Люба ей дает с собой хозяйственное мыло, а то там, в ванной, может, закончилось — и тут старое, закончившееся вроде на сегодня на промерзшей эстакаде у маршруток, возвращается.

Голова.

Соня садится и опускает голову к коленям.

— Соня, что такое?

— Голова.

— Болит?

Соня ждет, чтобы перестало. Перестало.

— Кружится. Так еще с Самарканда началось.

— Каждый день?

— А бывает не каждый — не, не каждый. Почти что. Через. Да, через, — теперь нет, и можно идти мыть руки.

— А ты у врача была?

— Так у врача — разве придешь. Да кто смотреть станет. Там полис нужен.

Про полис Соня знала из-за Акрама — ему на стройке ладонь порезали сильно. Так в травмпункте зашили, а снимать — сказали, по месту жительства идите. Или за денежку. Акрам двести рублей дал. Ему и сняли.

— Мне говорили — лекарство есть. От головы. Чтоб не кружилось. Мне друг говорил, повар. Ты знаешь такое лекарство?

Денег нет — что земляк дал в маршрутке мелочью, не



хватит. Но когда-нибудь. Можно будет думать — найду работу, принесу Акраму хлеб и куплю лекарство.

Но Люба не знает. Но она:

— Я медучилище кончала, я медсестрой была... Правда, я только давление водителям перед рейсом смотрела и температуру, если что. Я думаю, что голова так просто кружиться не должна и никакого лекарства нет. Тебе бы к врачу.

Соня моет руки и ест пряники, и холодец, и помидоры маринованные, и уже не стыдно есть, потому что Люба не садится, варит на плите собакам куриные кости, открывает рассохшуюся деревянную форточку, пьет вчерашнюю простоквашу. Говорит, что самой бы к врачу собраться, а то вены болят, по весне и в туфли не втиснешься. А весна — да вон она, весна, и собаки в парке бесятся.

Акрам тоже хотел быть медиком. Он бы закончил. Что ж — сложно разве. Он бы сейчас давление водителям мерил.

Потом Люба молчит, включает телевизор.

— Я пойду... ждут...там, в доме. У меня.

— Возле парка живешь? Я тебе сейчас с собой холодца соберу.

— А себе оставляй; мне — спасибо, у меня дома есть...

И женщина потому, что смотрит в холодильник и телевизор, может быть, ей и верит.

— А куда мне оставлять — для кого?

Люба дает ей холодец и пряники в пакете.

— Ты приходи — если одежду постирать надо. А то там у вас в общежитии небось и машинки нет.

Соня наврала про общежитие.

— Машинка — есть, очень хорошая машинка...Я стирать вещи, ты не смотри на рубашку — мужнина, не моя.

Соня в рубашке земляка просидела. Люба провожает



её из подъезда — самой тоже на улицу: наварила кастрюлю пятилитровую пшенки собакам. С мясом, понятно — не с мясом, с требухой.

Они идут одинаково, только Люба — быстрее. Ей в парк, к собакам. Снова. Завтра беленькую из ветеринарной больницы забирать. Собаки лают и жмутся к бетонному забору.

Соня тащится медленно, ей — в гаражи. Можно бы быстрее, но незачем. Рубашка земляка теплая, грязная, хлопковая.



ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА МАЛОЙ ПРОЗЫ «ЭтноПеро» II МЕСТО

Щемящее чувство ностальгии и светлой тоски не покидает еще долго после прочтения рассказа Гузель Зайпольд «На краю Света». На первый взгляд, рассказ не связан напрямую с этнической тематикой. Ведь для русского читателя национальный колорит выступает наиболее выпукло в текстах, связанных с темой «малых» народов, повествующих об их обычаях и нравах, представляющих их историю в легендах, сказаниях и мифах. Как возможно в этом контексте для нас, носителей русской культуры, привычных к своим именам, бытовым реалиям, культурным феноменам сделать ее осязаемой?

Представляется, что это вполне удастся автору рассказа «На краю Света». Сначала слышишь колоритный говорок бабушки Ефросиньи Шёрсткиной, потом заглядываешь в ее деревянный окованный ларь, в котором лежит «одёжа — смёртное» в последний путь да «ляминивый» крестик на суровой нитке.

А знали ли вы, что «в старину уважительно относились к пуговицам, берегли их как зеницу ока, пришивая только к самым лучшим нарядам?» Что «пуговицы в те времена были и украшением, и «от сглазу», и оберегом от чёрных котов, да и от прочей нечисти тоже. Нужно было только покрутить незаметно пуговку на груди. А уж коли выпадала удача найти где-нибудь



пуговицу, то это считалось везением к огромному счастью»?

Затем узнаешь, что бабуличка заменила «далекую бабушку» маленькой девочке «из националок», потому что она «по душе — русская девка». И, наконец, слышишь от этой неграмотной бабушки слова, философскую глубину которых не всякому дано понять, слова о том, что все люди «молитси тому же Боженке, токма иначе».

А чтобы окончательно убедиться в том, что диалог культур в этом рассказе состоялся, стоит еще раз посмотреть на имя автора.



ЗАЙПОЛЬДА ГУЗЕЛЬ АНВАРОВНА

На краю Света.

И в поселении, где еле теплится душа
Последний холмик помнит чей-то род.
Где за обрывом солнце всходит не спеша —
Не истребить наш удивительный народ!

Где край света она знала почти с рождения, вернее, как стала осознавать себя. За городом прямо на окраине находился погост, туда вела широкая дорога. Глядя голубенькими любопытными глазёнками, Светка спрашивала бабулю:

— А туда с гостинцами погостить ходят?

— А как ж! Коли праздник какой, — шамкала бабушка беззубым ртом. Впрочем, два зуба у неё всё-таки были — сверху и снизу. И казалось, что даже они ей не нужны вовсе — ела она скромно и нескромное.

Как только доносились звуки похоронного оркестра, бабушка, худощакая и легкая на подъём, звала: «Светк, айда глянем, кого коронуют!» Стар и мал загодя начинали свой путь. Светка скакала рядом с бабулей, забегая вперёд. Та едва поспевала, неизменно опираясь на палку-клюку, шаркая калошами и путаясь в длиннополой юбке. По мере приближения оркестра траурной процессии, девочке хотелось заткнуть уши и самой впереди всех бежать на край света. Всегда казалось, что «край» находится у того оврага, где заканчивается дорога. Наверное, именно там



люди постоят немного у самого обрыва, веночки побросают и скорее спешат обратно.

— Зачем они ходят туда и опять все возвращаются?

— Вертаются не все, покойные там остаются, — поясняла бабушка.

— И уже никогда не вернутся? — устраивала допрос неугомонная Светка.

— Знамо дело, от тэдова никто не верталси, — вздыхала старушка, осеняя себя крестным знамением.

— А почему они умерли?

— Чать у меры своей оказалисьи. Може, хто старый стал, може, меру свою испил, може, ишо чо. Каждому своя долюшка уготована, — и старушка опять крестилась.

— А с края света можно упасть?

— Чать можно и упасть, и прыгнУть. А на кой? Можно жить-пожавать и никОго не замать.

Со временем бабуля ходить к дороге перестала — или слышать стала хуже, или двигаться медленнее. Да и собрание старушек на лавочке и так в подробностях смаковало ритуальные особенности похорон — кто нёс, кого и сколько: людей, венков, а порой и орденов было на подушечке. Бабушка всегда молча сидела на краю скамейки, шмыгала носом, поправляла платок, не спуская глаз со Светки, и только всех внимательно слушала.

Сколько было лет старушке и как её звали? Да, пожалуй, никто точно и не помнил. Бабушка Шёрсткина да и всё.

Мать Светы спрашивала:

— Бабуля, в каком году вы родились-то?

— Я уродилася в годе, коды сгорела вся деревня. Токма одна-одинёшенька колокольня и осталаси.

— А в документах ваших что написано? — допытывалась мама девочки.



— Документы брешут! Опосля царя-батюшки давали бумаги всем на приглядку.

— Понятно, значит, жили вы, бабушка, ещё при царе Горохе!

Светка, правда, слышала, что приходящая тётя-почтальон величала старушку Ефросиньей. Окружающие звали просто — бабушка Шёрсткина. Была она абсолютно безграмотной и в строке со своей фамилией раз в месяц ставила крестик за получение крошечной пенсии, которую бережно заворачивала в носовой платочек. Газет и писем бабушке не приносили. Да и кто мог ей писать? Совсем одна она осталась на белом свете. Поговаривали, будто Шёрсткиной было за девяносто лет, а прочие уверяли, что гораздо больше ста.

Почтальонша, пережидая непогоду, подробно расспрашивала бабулю о житье-бытье. Ефросинья Шёрсткина бесстрастно отвечала на её вопросы. Из всего выходило, что было у бабули когда-то одиннадцать душ детей, из них двое приёмных. «Всех дитёв пестовала сызмальства», — вздыхала бабушка. В Гражданскую погиб муж и трое старших сынков. В Мировую на двоих пришла похоронка; дочка и младший сыночек пропали без вести. Разом схоронила троих уже после войны. Отравились каким-то спиртом, что на завод целую цистерну привезли. Отметили праздничек — всё нутро выжгло. А последняя дочка Ефросиньи была бездетна. Случилось это после того, как она застудилась на сплаве леса, стоя в ледяной воде по самый пояс. В то время многие молодые женщины страдали от бесплодия. Мокли они на лесоповале и торфоразработках, на холодных военных переправах, да санитарками надрывались, волоча тяжелораненых по студеной земле. Последняя дочь, опередив свою матушку, тихо ушла в мир иной, и её свезли на погост.

— Бабушка, а почему ты не плачешь никогда? — спрашивала Света. — Что ли тебе деток своих не жалко?

— Ужели не жаль? Ох, как жаль! Да уж их не воротишь. Я все



слёзоньки-то ужю повыплакала, — со вздохом отвечала бабушка, глядя вдаль когда-то голубыми, а теперь почти бесцветными глазами.

А любопытная почтальонша, желая услышать полюбовную историю, вопрошала:

— Бабуль, а ты мужа-то хоть любила?

— Дык, кто жа тады спрашАл? Какой с рабёнка спрос? Да и запамятовала я ужю мужа сваво...

— Кем же ты работала всю жизнь, что на нормальную пенсию не заработала? — укоряла её дотошная женщина.

— Дык, пошто мне платить-то? Сперва в своейской семье на хозяйстве нянькалась, ишо батрачила, чать потом на трудоднях, а кода всех с деревни на завод погнали — опять домовничала.

— Раз ты такая одинокая, это-то чья? — кивала в сторону Светки почтальонша. — Глазки-то у неё незабудками, а сама чернявая. Вроде как она из националок?

— Моя! А чья ж ишо? По душе — русска девка. Я с ней чать нянькаюся. Батюшка с матушкой ейные дохтора, бабки иённые далече. А дитю как без пригляду? Вот и взяласи я вспомогнуть, да и мне весельше. Мы же с ей как родныя. Из яслёв сбегла до мя прямком супротив дороги. Да... Вот так-то!

— Так вы за деньги с ней сидите, бабуль?

— Не-е! Небось за любоф! Подишь ты, как такую девку не любить-то? Эт глупым быть без всякого пониманию. Разум у ей, аки у старой старухи. Знамо дело — МАсква-а-а!

У бабушки самая высшая похвала значилась словом «МАсква-а-а». Это вмещало всё: красоту, ум, силу, доброту, величие, благородство, талант, знание.

— Ох, пойду я, бабуль, в следующий барак, — говорила почтальонша и нехотя поднималась с тяжёлой сумкой наперевес.

— Сиди! Ужю застудишьси! Дож-жик студёный, а голяшки, чай, все наружу, ишо без поддёвки.





— Уж больно далеко ходить до вашего адресу. Живете на краю света, прям у чёрта на куличках, — вздыхала «сумчатая тётя» и убиралась подобру-поздорову.

Светка живо себе представляла: в песочнице на краешке сидит чёрт, копает ямку совочком, делает куличи из песка, а вокруг валяются формочки, ведёрки.

— Бабуль, почему мы живем у чёрта на куличках?

— Да нет, ты не слухай иё. Мы — у Христа за пазухой! А тётя ента, завсегда ходить куды иё посылають.

— Получается наш адрес: у чёрта на куличах за пазухой и на самом краю света?

— Ни-ни-ни! Ты либо с Боженькой, либо с чёртом. А по-иному никак!

— Бабушка, а ты старая? — вкрадчиво спрашивала Светка, переводя разговор на деликатную тему.

— Да уж, неужто нет?

— А когда ты помрешь?

— Да вот чой-то Господь никак не приберёт. Запомятовал, видать.

— Не умирай, бабушка! Ты просто не напоминай ему про себя, — жалобно просила Светка, кидаясь ей на шею.

— Не, так не нать! А то, неровён час, сама про Боженьку запомятуешь! Я поминаю яво завсегда, — со строгостью замечала старушка.

— А, может, ты и не помрешь вовсе?

— Помру, все помирають, — спокойно отвечала она.

— Что и я умру? Я не хочу! — заявляла с ужасом в глазах Светка.

— До моих годков доживешь, авось и захочешь, — вздыхала бабуля.

— А если ты помрёшь, что мы больше с тобой никогда не встретимся? — почти плакала девчушка.





— ВстрЕнемся! А как же, — обнимала её бабуля, утирая слёзы.

И бабушка обращалась к Богу. Тяжело вставала на колени в самом углу у иконы, усердно молилась, настойчиво напоминая о себе. Иконка у неё была бумажная — самая простая, наклеенная на деревянную досочку.

— Отче наш, Иже еси на небесех, да святится Имя Твое... — а дальше бормотание бабули переходило в шёпот, а шёпот в тишину. Наверное, так её лучше слышал Бог.

Светка тем временем терпеливо ждала, сидя на сундуке в теплых шерстяных носках. И вот звучало последнее слово:

— ...Аминь!

— Бабуль, а ты про себя молишься? — сразу вступала в разговор девочка.

— Не, не токма. Зараз за усах!

— А вот моя далекая бабушка молится другому Богу. Она говорит так: «БисмиЛлахи ир-рахман ир-рахим...» В конце: «А-а-мин!» И личико ручками утирает, а ножки у неё подогнуты под себя. Вот так! А ты, бабушка, у меня и недалекая вовсе!

— Она молитси тому же Боженьке, токма иначе, — примирительно говорила бабуля.

— А почему космонавты летали к звездам, а про Боженьку твоего ничего не рассказывали? — с хитрецей допытывалась до истины Светка, бросая свой главный атеистический аргумент.

— Почём знать? Видать, не могут сказывать. Времечко придёт, ишо скажут. А Господь-то никуды не денетси. Господь подождёт!

Примерно так выглядели все их философские беседы: о религии, космосе и жизни вообще. Политикой бабушка не интересовалась, да и радио с телевизором не было в её доме. Вся мировая политология заключалась в одной фразе:

— Не дай, Боже, войны!



Телевизор Светке заменяло окно в сад. Там было так интересно: зима, весна, лето, осень. Когда надоедали ей садовые передачи, бабушка откладывала прялку или вязание и начинала шить девочке кукол из ветоши. Выходили куколки удивительно добрыми и весело смотрели на мир синими глазами размоченного химического карандаша. Бабуля ловко справлялась с рукоделием, никогда не имея очков, да и к врачам не обращалась вовсе. Даже к родителям девочки, которые были уважаемыми в городе специалистами и работали на полторы ставки. Они часто пропадали на дежурстве, задерживались на работе допоздна. Что такое «полторы ставки» бабушка и Светка не знали, даже фильм «Славка больше, чем жизнь» не внёс никакой ясности.

Долгими вечерами старушка и девочка «щелкали семки» в ожидании прихода родителей девочки. Бабушка ногтями лущила семена подсолнечника и складывала их в замызганный носовой платок. Светка ела жареные ядрышки, а что не съедала бабушка завязывала в узелочек с собой: «Накось гостинчик снеси до дому». Родители, видя это, приходили в ужас, сокрушались, что оставляли ребенка в нестерильных условиях с безграмотной старушкой, которая и сказки-то прочитать не может. Но что делать? Когда ребёнок был с ней, то не убегал из детского учреждения и не болел так часто.

Светка же по-настоящему была счастлива с бабулей. Какие же чудесные сказки сказывала та. Для начала бабушка спрашивала:

— Сказку-то хош?

— Да! Про котика, — и девочка замирала в ожидании.

— Ага! Ну, слухай сюды! Жил коток. Пошёл он до деревни и добыл там: маслица, молочка, рыбки, мяска, смятанки...

Обычно на «смятанке» глазки слипались. А если нет, то за этой сказкой следовала другая:

— А ишо про чаво?





— Про лисичку!

— Ага! Лады. Жила лисонька. Пошла она до деревни и притащала от тедова дитям: курятинки, яичков, сальца, смятанки...

Наверное, бабуля наголодалась за всю свою жизнь, и ей хотелось рассказать о том, что может быть только в счастливых и добрых сказках.

Но как сладко после них спалось Светке в обнимку с бабушкой, которая ложилась рядом в том же, в чём и гуляла, только снимала свои всесезонные калоши. Светка перед сном целовала её впалые щеки и, уткнувшись в мягкую от времени шаль, засыпала. Было тепло, уютно и хорошо, а от большой подушки пахло старым пером и деревней.

Иногда по большим праздникам бабушка открывала свой деревянный окованный ларь. Он был похож на огромный флибустьерский рундук. В закрытом виде этот сундук исполнял роль стола, лавки, кровати — совмещая в себе всю мебель комнаты. Очень тяжело было поднимать откидную дверцу этого ящика, но девочка помогала бабуле изо всех своих силёнок. На крышке внутри сундука были наклеены пожелтевшие фото из журналов, которые засалились и срослись с ней уже навек. Наверное, там на фотографии был даже сам царь — Горох со своими горошинками. Внутри хранилось всё имущество бабушки, пахло хозяйственным мылом и чуть-чуть нафталином. Сверху лежали аккуратно сложенные вещи: «одёжа — смёртное» в последний путь; два очень длинных вафельных полотенца, чтоб сподручней было нести гроб; да пара белых, прям как у невесты, парусиновых тапочек. Бабушка никогда не позволяла их мерить. Пожалуй, это был единственный запрет для Светки, который даже не обсуждался.

Ещё там валялось: несколько клубочков шерсти, «штоба моль не почикала»; старый беззубый гребешок из кости —



Светка уже знала, что это не из соседского мальчика; несколько кусков мыла и спичечные коробки со старыми этикетками «на случай войны». Судя по картинкам на спичках, они хранились там с Мировой, где звала Родина-мать, а строгий дядя что-то спрашивал. Бабуля поясняла: «Тута он говорить, а записалси ли ктой-то ишо?» Отдельно лежали несколько пыльных церковных свечек, масло для лампадки, бутылка со святой водой, а в белой тряпице хранилась волшебная просвирка ещё с незапамятных времен. Бабушка благоговейно мусолила её беззубым ртом и бережно убирала на прежнее место. На вид – это зализанный пряник без глазури, на ощупь – камень, на вкус – прогорклый солёный хлеб, пропитанный пылью, слегка пропахший мылом и нафталином.

— Бабулечка, ну дай и мне попробовать просфирочку. Пожалуйста! — клянчила Светка.

— Лады! Спробуй, за ради Бога. Не кусай зубьями-то, токма лизни. Не ровён час, сломишь.

— Бабуль, а ты все свои зубки об него сломала?

— Нет, не зубоньки, а просфирку сломишь. Мне вновь-то до церкви не дойти, я-то уж и соборовалась, — и бабушка крестилась.

— А далеко ты засоборовалась? — удивлялась девочка.

— Далече — к Боженьке! — и она крестилась вновь.

— А как ты собороешься до него дойти? Ведь Боженька дальше церкви.

— Он далече! Ногами, чать, не дойти. Коды душу яму отдам, тоды коронить меня, чай, снясуть.

И бабуля задавала свой неизменный и главный вопрос: «А ты коронить мя пойдё-ёшь?»

— Пойду уж с тобой на край света, — вздыхала девочка.

— Ну и лады! — соглашалась старушка и гладила её по чернявой голове.





И наконец-то дело доходило до главной драгоценности бездонного сундука. Но лукавая девочка делала вид, что об этом вовсе не знает, да и вообще, видит сундук открытым впервые. Начинала Светка разговор издалека:

— Бабушка, а почему ты в своём сундуке не хранишь ценности всякие? В сказках разбойники туда драгоценности складывают, украшения там всякие.

— Не ма... А на кой оне?

— Ну, сюда можно прятать хотя бы денюшки лишние.

— Не наты! На лишки покупають тока лишки...

— А твой «ляминивый» крестик на суровой нитке почему сюда не кладёшь?

— Эт не украшение, а крест нательный. Яво не сымають и не кажутъ.

— Жалко, что сундук почти пустой. Нету в нём ни злата, ни серебра, — шутила плутоватая девчонка, зная, что на самом дне спрятаны настоящие сокровища.

Бабушка доставала из глубины сундука старую мятую коробку из-под монпансье. А внутри... сверкая и переливаясь всеми цветами, рассыпью лежали старые пуговицы. Они были все разные по форме и по размеру, и у каждой была своя маленькая история. Бабуля многое не помнила из своей долгой жизни, но как только в руки попадала маленькая дырчатая фурнитурка, то будто включалась яркая память нажатием кнопки. Понятно, в старину уважительно относились к пуговицам, берегли их как зеницу ока, пришивая только к самым лучшим нарядам.

А уж когда брала бабушка свои любимые перламутровые пугови, выцветшие глазки её загорались. Она, словно помолодев, рассказывала, что когда-то на синее платье, пошитое из тонкой шерсти, ей пришили вот «таку красотишу». Пуговицы в те времена были и украшением, и «от сглазу», и оберегом от чёрных котов, да и от прочей нечисти тоже. Нужно было только



покрутить незаметно пуговку на груди. А уж коли выпадала удача найти где-нибудь пуговицу, то это считалось везением к огромному счастью. Да, видно, за свою жизнь Фрося их почти не находила на дороге.

Светка бесконечно могла слушать бабушкины истории, тянулась и жалась к ней всем сердцем и душой. Дома родители говорили девочке:

— Ты бы бабушку так не целовала, она всё-таки моется редко. Да, кстати, пусть яблоки тебе кипяченой водой ополаскивает, руки моет водой из-под крана с мылом, а не всё вместе в бочке огородной.

— Бабуля не грязная, а чистая!

— Ну, просто она старенькая и безграмотная, никогда в школу не ходила, поэтому — недалёкая. Вот когда ты пойдёшь учиться, тогда тебе понятно будет всё в этой жизни, — говорили родители, успокаивая прежде всего себя.

— Нет! Она не недалёкая вовсе, а близкая — ни разу не далёкая. Не грязная, а чистая. И не старая вовсе — «коронить» её не надо! Про бабулю просто Боженька забыл. А я пойду за ней на край света!

У девочки начиналась истерика, слезы лились от обиды неукротимым потоком.

Так всегда случалось со Светкой, когда кто-то критиковал её бабуличку. А некоторые дети и вовсе боялись бабку Шёрстину, глядя на её морщинистое лицо с крючковатым носом, выбившиеся из-под платка патлы. Их пугала сгорбленная фигура, покрытая шалью, оперявшаяся на отполированную временем коряжистую клюку. Им казалось, что это сказочный персонаж из их детских страхов. Даже взрослые, которые близко не знали бабушку Шёрстину, говорили, что она похожа на колдунью или Бабу Ягу.

— Нет! Это вы сами Баба Яга! — кричала Светка. — Она





самая красивая и хорошая! Потом кидалась к бабуле, зарывшись в складки черной длинной юбки, плакала навзрыд или порывалась ударить своими кулачками обидчиков. Бабушка умирjala:

— Чаво языком-то часать, да глотку драть, аки оглашенны? Вот, ужо у мени! По што малую замаете? Хмыстают, горлопанять туты без толку. Охальники!

И потом ласково обращалась к Светке:

— А ты не кажи свои обидки-то, сразу и поотстануть. Неповадно им будеть. Чаго с ими возжаться-то? Знамо дело — неслухи робята. Чаво с их взять? Да слезоньки-то утри, чать глазоньки-то не казённые. А ты ж у мiani умна, аки стара-старуха! Ты жа — МАсква-а!

Бабуля нежно гладила Светку по голове: «Айда, мокроту-то утру, да пацалую!» — и вытирали подолом юбки детские слёзки.

Время тикало старыми ходиками, поскрипывая маятником. Всему на свете приходит конец. И беззаботному детству тоже. Школа, уроки, домашние задания пришли на смену бабушкиным посиделкам. Бабуля как-то отодвинулась на второй план. Света уже усердно училась в старших классах, готовилась поступать в медицинский. А всё некогда было забежать к бабушке.

Шёрстка Ефросинья умерла позднее осенью. Видимо, Боженька всё-таки про неё не забыл. Бабушку вынесли в закрытом гробу, легко, как пушинку, поставили на грузовик. С грохотом прощального залпа закрыли борт кузова. «Закопаем быстро», — буркнул работяга, забросив лопаты туда же в машину.

Небо плакало, прощаясь холодным осенним дождём. Соседские старушки стояли поодаль под козырьком дома. Света одиноко мокла, наблюдала за всем происходящим. Девочка не видела её мертвой и не верила, что там, в гробу, бабушка. Казалось, что её бабуля где-то совсем рядом.

Сердобольная соседская старушка решила поддержать Светку: «Да не мокни и не горюй, девка! От старости померла



твоя бабушка — своё уж давно отжила. Зажилась и так. Да кому она была нужна-то? Померла спокойно, дай бог каждому!»

Слезы, как в детстве, полились из глаз Светки, смешиваясь с дождём. Она зарыдала в голос. Из толпы послышалась чья-то реплика: «Ну зачем вы так? Девочка её любила. А бабуля Шёрсткина была доброй, трудную жизнь прожила. Сейчас она Невеста Христова!»

— Отходите все быстрее! — крикнул мужик в промокшей рабочей одежде. Грузовая машина подалась назад, а потом резко рванула вперёд в сторону кладбища, обдав стоящих жидкой грязью. Вскоре все зеваки разошлись. Никто так и не пошёл проводить в последний путь бабулю.

Шло время. Света поступила в Москву и уже училась на третьем курсе медицинского института. Как вдруг, ни с того ни с сего, ей приснилась бабушка Шёрсткина. Будто бы у разрытой могилы стоит гроб. Бабушка лежит в нём с белоснежными цветами в изголовье и в своих белых тапочках. Светка подходит к ней, хочет погладить руки, сложенные на груди. Но бабуля вдруг открывает глаза и жалобно спрашивает: «Светк, коронить-то пойдё-ё-ёшь? А-а?» Девушка после этого проснулась с пронзительной тоской и грустью.

А потом снилось, словно проходит она рядом с бабушкиным домом, мимо низенького окошечка. А та печально так смотрит на Светку, а вроде и вдаль — так же как когда-то, при воспоминании о своих детках. Сердце защемило от этого взгляда, а в горле застрял ком невыплаканных слёз.

В конце того лета после врачебной практики Свете удалось съездить в родной городишко. И первым делом пошла она к дому бабули. На том месте, где раньше был её ветхий домишко, от фундамента остались только два валуна, да и те затерялись в горькой полыни. И всё — больше ничего не осталось. Света зашла «к соседям» и одна пожилая женщина обещалась отвести



девушку на могилку к Шёрсткиной.

Могилку бабули отыскиали не сразу. Говорили, что захоронена она была у оврага на самом краю погоста. Холм ютился в тени тополей, был без оградки и значился покосившимся грубо отёсанным крестом. На нём не было никакой надписи, поэтому-то и определили место захоронения. Соседка кивнула: «Вот, бабка Шёрсткина, у неё даже на могиле сорняк не растёт!» Потом, не получив поддержки в разговоре, она добавила: «Наверно всё ж таки из-за тени и сырости». Рядом в овраге скопилась дождевая вода, и пахло грибами. Света молчала, и соседка быстро убежала, дескать, надо ей и своих тоже добрым словом помянуть. Было очень печально смотреть на заброшенную безымянную могилу. Света перед уходом положила на холмик небольшой букетик из осенних листьев и пожухлых полевых трав. С тех пор ей снилась бабушка только в солнечных лучах, молодая, наряженная в своё синее платье с перламутровыми пуговицами.

Прошло много лет. Светлана с мужем долгое время отработали за рубежом. Переезжали они из страны в страну, будучи «Врачами без границ». Ночные дежурства, операции, сложные случаи в родах. Работа не давала задуматься о настоящем, тем более о прошлом. Второй раз Светлане удалось побывать на могиле у своей бабули, когда они с супругом вернулись окончательно в свою страну. Кладбище к тому моменту изменилось, разрослось, найти место захоронения удалось по огромным тополям. Едва заметна была только небольшая возвышенность, креста уже не было, а в овраге образовался ручеёк. От него волнами расплескались голубенькие влаголюбивые цветочки непритязательной красоты. Разбрызгались они по земле мелкими капельками небесной чистоты, вплотную подобравшись к могилке. «Скоро всё быльём порастёт», — с грустью размышляла Света, собирая напоследок эти милые сердцу лесные незабудки.



В букете цветочки как-то сразу преобразились. Она почувствовала их неповторимо тонкий и нежный аромат. Голубоглазые незабудки имели какую-то тайную притягательную силу — невозможно было от них отвести взгляд. «Так вот почему они так называются!» — подумала Светлана и улыбнулась.



ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА МАЛОЙ ПРОЗЫ «ЭтноПеро» III МЕСТО

«Позитивное межэтническое взаимодействие» — так официальным языком можно обозначить тему замечательного рассказа «Золотой цыпленок». Но этими словами не передать колорит словесной ткани текста, пестрого, как узбекский ковер, наполненного ароматами восточного базара и женскими именами, будто пришедшими из сказок о тысяче и одной ночи.

Изображение мира глазами ребенка — прием, имеющий давнюю традицию в литературе. Русские писатели обращались к нему в разное время, пользуясь возможностью представить окружающий мир в неожиданном свете через свежесть детских впечатлений, сквозь нестандартное восприятие наивного сознания.

Такой прием использует и автор «Золотого цыпленка» Светлана Волкова. Для ее героя — маленького русского мальчика, попавшего волей судьбы в узбекскую семью, — «солнечные, яркие, слепящие, как фонтанные брызги, детские воспоминания» о военном Ташкенте и послевоенном Ленинграде — это прежде всего воспоминания, связанные с запахами. Встреча двух культур для него — это контраст родного ташкентского аромата кухни и ленинградского духа горящего металла.



ВОЛКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Золотой цыплёнок

Первый раз Димка влюбился в четыре года. Ей исполнилось шесть, она была воздушна и сказочно прекрасна в небесно-голубом платье, перешитом из газовой блузы своей длинноносой матери. От неё пахло грушами и жжёным сахаром, и имя Гуля ей очень шло.

Когда тётя Маруся спросила, понравилась ли ему девочка, Димка задвигал носом, вспоминая её праздничный съедобный запах, и ответил: «Очень». И в тот же день поцеловал новую знакомую в щёку. Гуля ничуть не смутилась, а лишь погрозила ему пальчиком, точно взрослая.

Этот первый осмысленный опыт сердечного притяжения томился в Димке ровно неделю — с понедельника по воскресенье и растворился в воздухе, как выпаренное молоко, оставив невесомую запёкшуюся пеночку где-то на донышке сознания. Подружку увезли в Самарканд к бабушке. На прощание Гуля подарила ему зелёный карандаш — от него тоже пахло карамелью, и Димка постоянно грыз его, пока тот не раскололся пополам.

Запахи окружали Димку с рождения. Родился он в августе сорок первого, до срока, в поезде на пути в Ташкент, куда маму и тётю Марусю, её младшую сестру, спешно эвакуировали из Ленинграда вместе с архивом Пулковской обсерватории. День гибели отца в боях под Лугой по фатальному стечению



обстоятельств совпал с днём рождения сына, мама же сойти с того поезда не смогла – ушла в горячке тихо, под убаюкивающий стук колёс и рваные песни одуревших от жары пассажиров, до самого последнего мига прижимая пылающие сухие губы к лобику новорожденного сына. Старенький фельдшер ничем помочь не смог, лишь тяжело вздохнул да тайком перекрестил восемнадцатилетнюю испуганную тётю Марусю, совершенно не представлявшую, что делать с пищущим кульком и как вообще жить дальше.

Впоследствии тётя рассказывала Димке историю его рождения несколькими словами: «поезд», «жарко», «мало воды», «мало тряпок» и каждый раз прятала от любимого племянника слёзы – так остро сидели те августовские дни в её сердце. Димка же во время этих скудных рассказов неизменно слышал запахи: угольной пыли, мазута, кислого людского пота в вагонах и хлеба с луком. Много раз вместе с мальчишками он бегал к железнодорожному вокзалу, вбирал ноздрями дёготный дух шпал и промасленного металла, вслушивался в журчащий говор вокзального люда, трогал рукой раскалённые от зноя блестящие рельсы и говорил сам себе: «Вот я родился».

В Ташкенте тётю Марусю определили в многодетную узбекскую семью. В их дворе поселились ещё несколько эвакуированных ленинградских женщин с детишками, и к моменту, когда Димка начал говорить, оказалось, что он одинаково хорошо понимает и русский, и узбекский, и таджикский, и даже каракалпакский – от шумных многочисленных соседей, по очереди нянчивших его.

Тётя Маруся работала секретарём-стенографисткой в районной администрации, представлявшей собой кособокое жёлтое здание с толстыми, будто вспухшими от водянки ногами-колоннами и щербатыми, как стариковые зубы, ступенями. Димка оставался днём с бабушкой Нилуфар – большой, доброй усатой



женщиной, коричневой от вечного ташкентского загара. Она поила его кумысом и вместо соски давала пожевать вяленый урюк, предварительно выгрызая косточку тремя оставшимися зубами. Бессчётные её внуки спали днём с Димкой в обнимку на вытертом узорчатом ковре, а ночью тётя Маруся брала племянника к себе, свято веря, что именно русская колыбельная про серенького волчка поможет ему вырасти крепким и здоровым, да и просто выжить.

Бабушка Нилуфар звала Димку на татарский манер «Динар» и давала подзатыльники тяжёлой рукой всем, кто, как ей казалось, был с сиротой неласков. Умиляясь Димкиным вьющимся золотым кудрям, она окликала его нежно «оппогым», что по-узбекски означает «мой беленький». А когда Димка прибегал к ней со двора и непременно по-русски, которого бабушка Нилуфар не понимала, начинал рассказывать, как, к примеру, видел подравшихся баранов, она качала головой в цветастом платке, протягивала ему пиалу с чаем и соглашалась со всеми его словами, приговаривая: «Ай! Алтын джужа!» — «Золотой цыплёнок!»

С того самого дня, как Гуля в ответ на поцелуй погрозила четырёхлетнему Димке пальчиком, ему открылся совершенно новый мир — мир девочек, до той поры не замечаемых. Будто этот самый пальчик, точно волшебная палочка, указал ему на нечто такое, от чего у Димки разом перекрыло дыхание. Оказалось, что все девочки вокруг красивые. Даже толстая угрюмая Зулхумар, непонятным образом откормленная родителями в голодное военное время на радость будущему «сговоренному» мужу, который бегал вместе со всеми во дворе в рваных штанах и ещё писался по ночам, — даже она виделась Димке сказочной королевной.

Димка и считать научился по девочкам: в его дворе их





восемь, в соседнем пять, через двор десять. Он обожал звать их по именам — громко, на всю округу, пугая домашних птиц и тощих котов. А имена-то — сплошная музыка! Люба, Валюша, Маша, Гузаль, Фарида, Бахмал... Вперемешку русые, рыжие и чёрные косички, легкие ситцевые сарафанчики в ромашку и сине-жёлтые в чёрный зигзаг национальные платица-куйлак, из-под которых торчали обшитые на концах блестящей тесьмой штанины шаровар. Матери также шили детям одежду из всего, что попадалось под руку, — из наматрасников, наперников, мешков из-под муки. Но даже перешитая из наволочки юбочка виделась Димке самым дивным нарядом. То, что «они все дуры», в чём был искренне убеждён его лучший друг Мансур, ничуть Димку не смущало. Ну дуры! Но ведь такие необыкновенные! И пахнут, не так, как мальчишки, а чем-то девчоночьим — миндальной ореховой крошкой, сладкой курагой, изюмом, чуть забродившим дынным спелым духом, а по праздникам — бухарской халвой.

«Донжуанчик растёт», — улыбался однорукий учитель Алишер, тайно вздыхавший по тёте Марусе, но так за все годы её с Димкой затянувшейся эвакуации и не решившийся за ней поухаживать.

После того, как уехала Гуля, Димка поцеловал Валюшу. Она надула губки, будто собиралась заплакать, но не заплакала, а побежала к девочкам, и Димка подслушал, как она рассказывает подругам об этом происшествии. И в рассказе том были нотки хвастовства, поданные Валюшей в качестве справедливого гнева и возмущения «гадким мальчишкой». Но что-то Димке подсказало, что не так уж это ей неприятно.

Перецеловав по разу, а то и по два всех окрестных девчонок, до которых он мог дотянуться своим малым ростом, Димка понял одну нехитрую истину: они, эти вкусно пахнущие создания, совсем не сердятся на него, а даже очень рады



поцелуюм. Девочки, все как одна, нарочито фыркали, кокетливо дёргали худыми плечиками и бросали ему на выдохе: «Дурак!» Но «мелюзгой» на русском и узбекском дразнить его перестали.

— Я тебе больше не нравлюсь? — спросила однажды чернобровая смешливая Фарида.

— Почему? Очень нравишься! — ответил Димка.

— Но ты меня только один раз поцеловал, а Гузаль два.

Димка вытянул губы и чмокнул её в золотистую щёку.

Фарида вздохнула и, помолчав, сказала с упрёком:

— А Гузаль ты в губы поцеловал!

Димка этого не помнил.

Получив выклянченный поцелуй в губы, счастливая Фарида умчалась к маленьким сёстрам хвастаться, что у неё теперь есть жених.

— Что ж ты будешь делать, горе моё? — качала головой тётя Маруся. — Тебе придётся на всех на них жениться!

— Ну и женюсь! — гордо задрал нос, отвечал Димка. — Дядя Алишер рассказывал, что у его знакомого несколько жён!

— Да как мы их всех прокормим? — смеялась тётя Маруся. — Одна Зулхумар ест больше, чем мы с тобой вдвоём!

— Да уж! — подхватывал Алишер. — Здесь, брат, восток. Посмотрел на девушку — женись! А уж поцеловал — считай, что свадьбу сыграл.

— Правда? — изумился Димка. — Я сейчас Аню люблю. Я её три раза поцеловал. Это значит, три раза женился?

Алишер захохотал:

— А на прошлой неделе ты мне рассказывал, что не можешь выбрать между Любой и Мадиной. Эх, Маруся, увозить надо парня, пока, и впрямь, не «сговорили».

Тётя Маруся кивала, отшучивалась, сама же с какой-то тоской думала о возвращении.



Родственников в Ленинграде не осталось — те, что были, не пережили блокаду. Дворничиха баба Нина прислала ей письмо в конце сорок третьего, что дом их в Jakobstadtском переулке цел, хоть от фугасной бомбы и сгорел флигель с прачечной, и что комната их стоит пустая, ждёт возвращения. Тётя Маруся рыдала сутки над письмом, а соседи даже начали было собирать их с Димкой в дорогу, раздобыв плетённый короб и утрамбовывая его дно всем, чем были богаты, по широте души — от красно-бурого верблюжьего одеяла до мешка с изюмом. Но тётя Маруся всё откладывала поездку, ссылаясь сначала на то, что Димка маленький, и неизвестно, как в Ленинграде с работой, и да надо бы сначала дожждаться полной нашей победы. Бабушка Нилуфар гладила её по голове и уговаривала остаться насовсем. Тётя Маруся вздыхала, мотала головой и выдавала не то стон, не то хрип, но тем не менее ещё на пять с половиной лет после прихода того самого письма задержалась в гостеприимном Ташкенте.

Уже и бурно отпраздновали победу, и всем двором встретили вернувшихся с фронта соседей, а тётя Маруся всё медлила и медлила с возвращением в Ленинград, словно больше всего на свете боялась войти в ту самую комнату, где родилась, выросла и была так счастлива.

— Учиться тебе надо, Маруся, — убеждал её Алишер. — Не всю же жизнь на машинке клавиши отбивать. Ты вот геологом стать хотела.

Тётя Маруся вздыхала, понимая, что он прав и надо поступать в институт — и непременно в ленинградский Горный, где до самой смерти преподавали её отец и мать, но всё тянула и тянула с отъездом. Когда же Димке пришло время идти в школу, она списалась со своей старенькой учительницей, ставшей к тому времени директором, и получила ясный ответ: будет для Димки место в первом «Б» классе, собирайте чемоданы.



Но чемоданы тётя Маруся собирать не спешила, всё отшучивалась: что, мол, с собой брать-то, разве что единственное платье да племянниковы портки, остальное не нашли. А перед самым отъездом Димка сломал руку — прыгал с мальчишками с крыши кособокой чайханы и неудачно упал. Тётя Маруся словно ждала этого сигнала, ухватила за него, как за соломинку, продала билеты на поезд и всё хлопотала над Димкой, точно соседская дворняга Брахмапутра над единственным выжившим щенком. Нет, нельзя малыша в таком состоянии никуда везти, ему нужен покой! И точка.

* * *

В первый класс Димка пошёл в ближайшую к их дому русскую школу, стоявшую в узком проулке рядом с рынком. Читать он научился давно, сначала по вывескам на домах, потом по газетам, и к семи годам перечитал все русские книги, какие раздобыл у соседей во дворе. В этот список вошёл «Справочник медицинской сестры», «Дон Кихот», «История пунических войн. Том 3» и «Телефонная книга Ташкента за 1935 год». Правда, он бы не поклялся, что всё понял, особенно в «Дон Кихоте», но это его ничуть не смущало.

В школе Димке было скучно. Оказалось, что он единственный в классе умеет бегло читать, одинаково хорошо по-русски и по-узбекски. Полгода мусолить азбуку с малышовыми картинками было дня него сущей пыткой, и он тайком от учителя листал истрёпанное, зачитанное до дыр толстовское «Детство Никиты» — подарок дяди Алишера и бегал на перемене в школьную библиотеку. «Взрослые» книжки суровая толстобокая библиотекарша Матлюба Фархатовна младшим школьникам на дом не выдавала (даже за халву), и Димка брал их в читальный зал. «Графиня де Монсоро» захватила его полностью, хотя местами и была скучна, и он искренне не понимал, почему



Матлюба Фархатовна считает, что ему читать ещё рано. Там ведь нет того, о чём шептались мальчишки, а друг Мансур убеждал, что видел собственными глазами, когда его старший брат Турсун «зашёл за ковры с кондукторшей Алёной». «Анна Каренина» далась не сразу, но Димка научился проглатывать абзацы, которые не понимал, и останавливаться на главном — на любви. А Пушкина он открыл для себя заново и удивился — читал ведь всего год назад, в шесть лет, а вот перечитывает сейчас и всё-всё понимает — и о любви, и о женщинах. Наверное, вырос. Каждый раз, открывая какое-нибудь стихотворение, Димка представлял, что это написал он, а вовсе не Пушкин, и видел себя подбирающим рифму — конечно, такую же, как у Александра Сергеевича. И ещё ясно представлял себя стоящим на камне на берегу Салара и полушёпотом читающим пушкинские строки какой-нибудь девочке, и та непременно ахает: «Как талантливо!» А Димка небрежно бросает ей: «Сырые ещё, перепишу».

Так, незаметно для себя самого, он начал писать стихи. Но показать их не осмелился никому, с завистью отмечая, что у Пушкина получается лучше.

Мальчики учились от девочек отдельно. Девчоночьи классы находились в соседнем здании, служившем в военное время складом. Окна были маленькими, узкими, в помещении стоял полумрак, и Димка, в первый школьный день прибежавший посмотреть на учениц, никак не мог их разглядеть. Только когда школьницы шумным выводком высыпали на переменке во двор, он обомлел от их количества и замер от тихого восторга. Нарядные, в белых фартуках с крылышками, они чертили классики и прыгали, задевая пятками краешки платиц. Димка всё смотрел и смотрел на девочек и никак не мог определить, какая же из них ему больше нравится. И снова пришёл на следующий день, и опять не смог выбрать. Они все были красивы, легки, сладкоголосы, а



мрачное здание младшей школы придавало им некий книжный ореол романтизма и монастырской тайны. Друг Мансур считал, что их просто зачем-то держат в здании, но ничему не учат, и правильно делают: скрести до блеска казан, ошипывать птицу и подметать двор они и так умеют.

К концу сентября Димка, как сам сформулировал, решительно влюбился. «Решительно» — потому что решил и влюбился. Ведь время шло, и надо было делать нелёгкий выбор.

Её звали Роза, она была из большой татаро-узбекской семьи и отличалась от других девочек тем, что не гонялась по двору, как угорелая, а скромно стояла в сторонке и непременно что-то жевала. У неё было персиковое лицо, бархатные конские ресницы, румянец крупным вишнёвым мазком убегал куда-то за ухо, а волосы вились чёрными блестящими колечками и напоминали Димке подгоревший на шампуре лук. И вся она, такая «съедобная», мягкая, так и просилась, чтобы он, Димка, в неё влюбился.

На этот раз он совершил все действия в обратном порядке: сначала поцеловал Розу (поднявшись на цыпочки, потому что она была выше на целую голову), потом объявил, что она его дама сердца, и уже затем представился. Девочка на поцелуй сначала не отреагировала — вероятно потому, что не знала, как на это реагировать, потом проглотила то, что жевала, и потрогала его светлые волосы, торчащие из-под тубетейки.

— Ай! Алтын джужа! — сказала она по-узбекски с интонацией бабушки Нилуфар. — Золотой цыплёнок!

И Димка понял, что это означает безоговорочное «да».

Он подарил Розе кусочек золотистой тесьмы, какой женщины обшивают края шаровар, и показал ей, как надо взбираться на чинару, чтобы, сидя на толстой ветке, бесплатно смотреть кино. Роза покорно пыталась залезть на бедное сутулое дерево,



но, как ни старалась, ничего у неё не выходило. Она скользила сандалиями по отполированному сотней мальчишеских пяток стволу, кряхтела и с глубоким загрудинным выдохом съезжала вниз, попой на самые корни. Точно также тяжело вздыхало и дерево. Димка пробовал посадить её, но не смог, а звать на помощь пацанов посчитал неправильным.

Недели через две он узнал, что ревнивая Фарида оттаскала соперницу за косы. А ещё через месяц Розу «сговорили», и она торжественно сообщила Димке, что теперь не сможет бегать с ним на берег Салара и таскать с базара непроданную алычу, потому что где-то в Юнусабадском районе живёт мальчик с необыкновенным именем Алмаз Закиров, которого она никогда не видела, но уже точно любит. Потому что мужей, даже будущих, надо обязательно любить.

Димка погоревал, но вскоре утешился Соней, продержавшейся в фаворитках до самых зимних каникул. И до конца первого класса было ещё несколько девочек. Мансур предложил ему завести специальную тетрадку и записывать туда их имена, чтобы не забыть, но Димка вспомнил строки стихотворения Навои, где говорилось о сладком яде забвения, и заявил приятелю, что ничего записывать не будет, потому что больше всего на свете любит сладкое.

А в июле, когда перезревшее ташкентское солнце нагрело камни на мостовых до такой температуры, что плюнешь — зашипит, как масло на сковороде, тёте Марусе приснился сон. Снилось ей, что она снова маленькая, бежит по ленинградской квартире босиком, ноги мёрзнут от холодного пола, и папа с мамой, живые и молодые, всё зовут её отмывать грязные пятки и ложиться в кроватку с белым хрустящим, принесённым с мороза бельём.

Подействовал тот сон на тётю Марусю, как пусковая



кнопка, включившая сирену или какой другой титанический механизм. Два дня она носилась по улицам, лёгкая, как комочек хлопка, гонимый ветром, и всё никак не могла найти успокоения. А на третьи сутки решительно заявила: «Всё. Возвращаемся в Ленинград». И никакие уговоры друзей и увещевания бабушки Нилуфар действия не возымели. Срочно уволившись с работы и отправив телеграмму дворничихе бабе Нине, она купила два билета в плацкарту и, отрывавшись на плечах всех ташкентских соседей, ставших родными, покидала свои и Димкины вещи в плетёный ивовый короб.

Провожали тётю Марусю с Димкой всем двором. Алишер привёз от газалкентских родственников барана, женщины сотворили божественный плов, а из купленного на базаре виноградного сахара приготовили нават, напекли фигурное печенье куш-тили и жжёными сахарными катышками угощали детишек, слетевшихся в их двор со всех окрестностей вместе с мухами.

«Прощание» началось с самого утра и закончилось к вечеру, за час до отхода московского поезда. Плакали, как водится. Даже дворняжка Брахмапутра очень к месту подвывала, не забывая таскать со скатерти всё, что плохо лежит. Бабушка Нилуфар привязала к ручке короба баул с завёрнутым в вощёную бумагу бешбармаком, уложила сдобные пирожки и курагу, всучила Димке в руки кулёк с жёлтыми сливами. И всё приговаривала:

— Ай! Алтын джужа! Золотой цыплёнок!

До вокзала пошли целой демонстрацией. Димкины «невесты» и «просто знакомые девочки», количество которых в торжественном эскорте постоянно менялось, тянулись шлейфом до самого перрона. Он хотел было перецеловать их всех (чтоб запомнили), но проводница, похожая на взлохмаченную ворону, гаркнула на тётю Марусю, чтобы все занимали места согласно



купленным билетам, а родственники и прочие «не нагнетали обстановку». И от поцелуев Димка воздержался. Пацанов тоже было много, но он обнял только Мансура и клятвенно пообещал приехать погостить на следующие каникулы, прибавив шёпотом, что если тётя Маруся не даст денег на билет, то он сам прибудет в Ташкент под вагонным брюхом — а что, ему не страшно, он же родился на железной дороге.

Бабушка Нилуфар долго мяла Димку в беспокойных руках, словно лепила из теста чучвару, поправляла на нём тубетейку и, не выдержав и пустив из одного глаза слезу, напоследок проговорила: «Ок йул!» — «Белой дороги!» Поезд тронулся, оставив позади гостеприимный солнечный Ташкент и такие же солнечные, яркие, слепящие, как фонтанные брызги, детские воспоминания.

* * *

Дорога, и правда, оказалась «белой». До Москвы поезд шёл три дня, два из которых — через степь, белёсо-седую, выжженную, с ломкой гривой ковыля, мелькавшего за окном, пучками кустов бобовника и спиреи да редкими корявыми саксаулами. Хлопковые поля тянулись бесконечными полосатыми матрацами, бело-коричневыми, с мелкими пёстрыми кляксами женщин, собиравших урожай. Димка вспомнил, как почти год назад, в сентябре, их класс отправляли на грузовичках на сбор хлопка, — всех школьников до одина, даже первоклашек, как собирал он ватные фонарики в большую наволочку, привязанную к спине, и как болели потом пальцы и трудно было держать на уроках перо.

Тётя Маруся грустила, всю дорогу смотрела в окно, вспоминая, как восемь лет назад ехала в Ташкент с любимой сестрой, и изредка позволяла Димке поить себя чаем. Он наливал кипяток из стоящего у тамбура залатанного титана в большую



железную кружку и, глядя тётю Марусю по голове, читал ей что-нибудь из Пушкина. Тётя Маруся всхлипывала, прижималась губами к белым кудрям племянника и в который раз повторяла: «На родину едем, в Ленинград».

Дорогу от Москвы до Ленинграда Димка почти не запомнил: перед самым отправлением тётя Маруся купила на Ленинградском вокзале «Занимательную энциклопедию», и Димка нырнул в неё с головой. Он с восторгом читал и старался запомнить всё подряд: как образуется исток реки, как горит хвост кометы и как муравьи доят тлю. А рано утром, с трудом соображая, где он и что с ним происходит, Димка выглянул в окно и увидел серую пелену тумана, а в нём, как в кумысе, плавали люди с баулами и чемоданами, и взволнованный голос тёти Маруси произнёс: «Мы приехали».

Московский вокзал дыхнул в лицо тёплой сыростью и гостеприимно распахнул громоздкие чугунные ворота на шумную и суетную площадь Восстания. Город поразил Димку количеством людей, одетых в шерстяные пиджаки — по узбекской зиме, и множеством пятиэтажных домов, каких в Ташкенте не было, и ещё тем, что на улицах ездили, в основном, автомобили и ни разу не встретился ишак. Обычная ленинградская августовская погода показалась ему чересчур холодной, а вот дождь невероятно понравился: в Ташкенте бы так — много луж, целые реки на мостовой, и так сладостно-утробно журчит поток, кружась воронкой и убегая в щербатую решётку люка!

Тётя Маруся долго стояла напротив своего старого дома в Якобштадтском переулке, вглядываясь в тёмные глазницы окон их комнаты на четвёртом этаже, и всё не решалась перейти улицу и толкнуть дверь парадной. Наконец высокая тощая старуха в длинном фартуке окликнула её из подворотни, и тётя Маруся, ахнув и прошептав Димке, что это и есть та самая дворничиха



баба Нина, бросилась той на грудь.

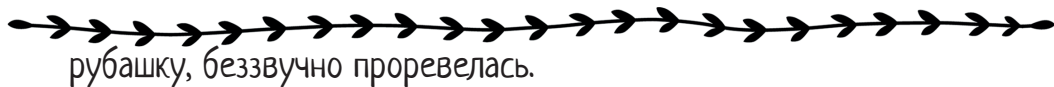
Из соседей по коммуналке, помнивших их семью, выжила только Ольга Романовна. Два её сына погибли на фронте, а дочь жила с мужем в Москве. В четырёх других комнатах обосновались три новых семьи, подселённые на освободившуюся жилплощадь уже после войны. Комнату тёти Маруси отстояла у ЖЭКа баба Нина, написав заявление «куда надо», что, мол, точно знает: сын героически погибшего танкиста Фёдорова и его родственница Мария Ивлева вот-вот вернутся из эвакуации.

В комнате, несмотря на то, что замок на двери был сломан, почти все вещи сохранились целыми. Паркет остался лишь под шкафом и тяжёлым чёрным диваном, в центре его не было — соседи разобрали в блокаду и стопили в буржуйке. Ещё не хватало ореховой этажерки, но книги и перевязанные голубой ленточкой письма, которые на ней были, аккуратной стопочкой виновато лежали на подоконнике.

Тётя Маруся выдала Димке тряпку, и они в четыре руки принялись за уборку. Пыли, скопившейся за долгие годы их отсутствия, было много. Тётя Маруся сосредоточенно молчала, и Димка не решался приставать с вопросами — чувствовал, что её полностью захватили воспоминания. Она поочерёдно брала в руки то отцовы очки в потрескавшемся кожаном очечнике, то вышитую мелким бисером плоскую театральную сумочку матери, то фотографию в толстой раме, где они со старшей сестрой, Димкиной матерью, сидят, прислонив друг к другу головы, и смотрят куда-то вдаль, такие счастливые, юные и круглолицые. И лишь когда Димка заметил, что тётя Маруся остервенело пытается оттереть тень от латунной ручки на белой филанчатой двери, подошёл и осторожно тронул тётю за плечо:

— Ты поплачь, тётъ-Марусечка.

Тётя Маруся обняла Димку и, уткнувшись лбом в его



рубашку, беззвучно проревелась.

Ленинград показался Димке городом с другой планеты. Невероятным, немыслимо красивым, большим, немного печальным. Всё было иначе, чем в Ташкенте. Неяркие краски домов и лиц, сизое в рваный голубой просвет небо и лужи, аккуратные, как бухарские лепёшки, напоминали о том, что в этом городе надо заниматься совсем другими вещами, чем в Ташкенте, — например, писать грустные стихи, вздыхать и умирать от неразделённой любви к кому-нибудь. Как Пушкин. Собак было очень мало, и лаяли они интеллигентно, не брехали впустую, а словно что-то говорили, но не настойчиво, а так, «к слову». Двери квартир запирались на ключ, что было совсем странно. Люди не останавливались посередине улицы поговорить, а, даже если знали друг друга, кивали, слегка наклоняя головы, и спешили дальше. Только мальчишки в узбекских тюбетейках были такие же, как в Ташкенте, и в первый же день дворового знакомства показали Димке окрестности со всеми подворотнями и лазами и научили жевать вар, который кровельщики разводили в чумазах железных бочках, похожих на гигантские осиные гнёзда.

Но самое главное отличие было, конечно, в запахах. Родной ташкентский дворик говорил ароматами кухни, кунжутным маслом, прогретым до чёрного дыма, растопленным курдючным жиром, угольной сажей, вывешенными на просушку ватными матрасами-курпачами, мокрой шерстью, кислым молоком. И ещё иногда терпким клеем, которым бабушка Нилуфар промазывала бумажные ленты для кассового аппарата — от проклятых мух — и выкладывала во дворе, от чего тот становился похожим на маленькое полосатое хлопковое поле.

Ленинградский двор покорила Димку сладковатым запахом подмоченных дождём дров, которые все соседи хранили под хлипким брезентовым навесом, помечая их номерами квартир.





Невероятно пьянил аромат опилок, вылетающих брызгами из-под двуручных пил, густой запах сапожной ваксы, витавший рядом с будкой чистильщика обуви, которого все называли почему-то «айсор». И ещё дух горящего металла, исходящий от искр ножей и ножниц, сопровождаемый басовитым протяжным криком-песней точильщика: «Ножи точу, бритвы пра-а-а-авлю!»

Начиналась другая жизнь, но Димка всеми силами цеплялся за ту, тёплую, ташкентскую. Она не отпускала его ни на шаг, мучила, томила. И лишь первая его ленинградская влюблённость, оказавшаяся самой сильной из всех, что он когда-либо испытывал, немного примирила его с Ленинградом, а со временем сделала этот чужой город родным. У девочки было старинное имя Нила, что, как она ему по-секрету объяснила, означало с греческого «молодая». Но Димка, к её удивлению, звал её Нилуфар...



ГЕРМАН СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

Солдатская мать

*Насвывается матерям, чьи сыновья
никогда не вернутся домой.*

Над селом медленно вставало солнце. Хмурый рассвет осторожно выползал из-за линии горизонта, озаряя серые дома пугливым, зыбким светом. В сараях завозились петухи, пробуя кукарекать неуверенным фальцетом. Антонина Петровна Горшкова всегда просыпалась в одно и тоже время. С детства привыкшая вставать с петухами, она и сейчас открыла глаза, как только услышала петушину возню. В доме с утра было прохладно, Антонина Петровна затопила печь, подоила корову и отправила её в стадо. Приближались холода, и скотину пасли уже последние деньки. Выгоняя Зорьку со двора, Антонина Петровна, дала ей посыпанную крупной солью горбушку; довольная корова, не торопясь, двинулась к стаду, смешавшись с тремя десятками таких же пятнистых буренок. Антонина Петровна жила одна, муж несколько лет назад разбился на мотоцикле, сын Валера уже второй год служил в армии. За домашней работой и хлопотами пролетело утро. В десять часов почтальонша разносила почту. По устоявшейся привычке Антонина Петровна вышла за калитку, чтобы самой встретить Галку с сумкой на плече. От сына давно уже не было писем, и Антонина Петровна начала волноваться, не случилось бы чего с сыном. Соседка Валя на все её страхи только



махнула рукой: «Брось, Тоня, мой тоже писал каждую неделю, пока не отслужил год. А как только оперился, так сразу писать и забросил, за последний год только три письма и прислал». Антонина Петровна ей верила и не верила. Её Валера был не такой, как соседский шевбутной и непутёвый Толик. Он и после армии побыл дома месяц, покуролесил и укатил куда-то на север, присылая матери открытки к Новому году и 8 марта.

Вместо письма почтальон отдала ей жёлтый прямоугольник бумажки. Антонина Петровна повертела его в руках, не понимая:

— Галя, что это за письмо такое? Никак не разберу без очков.

Почтальонка охотно пояснила:

— Повестка это, в военкомат. Не иначе с Валеркой что-то случилось, раз вызывают.

У Антонины Петровны захолонуло сердце. Она занималась домашними делами, поминутно поглядывая на часы, чтобы не опоздать на автобус. Потом, не в силах больше ждать, закрыла дом и побежала на остановку. Дребезжащий деревенский автобус подошел без опоздания. Антонина Петровна села у окна, не обращая внимания на бензиновую гарь, всю дорогу просидела молча, не обращая ни на кого внимания. Дежурный прапорщик с красной повязкой на рукаве повертел в руках её повестку, потом позвонил куда-то по телефону. Почти тотчас по лестнице спустился пожилой военный с большими залысинами на лбу, провел её в кабинет на втором этаже. Он долго перебирал на столе какие-то бумаги, не смотря ей в глаза. Антонина Петровна молчала. Военный встал, потом присел рядом с ней на стул:

— Антонина Петровна, я приношу вам свои извинения за то, что мы вызвали вас сюда. Молодая сотрудница по ошибке выписала вам повестку.

У Антонины Петровны в груди шевельнулась надежда, офицер продолжал:

— Надо было, конечно, мне приехать самому, но вечная



нехватка времени. Я вполне разделяю ваши чувства, я сам отец, у меня два сына.

Сыновья майора Полипова учились в Москве: один в театральном училище, другой — в Институте международных отношений. Служить в армии они не собирались. Говорить об этом майор не стал.

— В общем так, подразделение, в котором служил ваш сын, попало в засаду и почти полностью погибло. Вашего сына нет ни среди убитых, ни среди раненых, — майор вытер пот со лба, зачем-то добавил, — вот такая катавасия.

Женщина непонимающе смотрела ему в лицо:

— Но ведь если Валеры нет среди убитых — значит он жив.

Полипов встал, подошёл к окну:

— Да, такая вероятность существует. Может быть, он успел добраться до какого-нибудь села, — помолчал, — а может быть, попал в плен, во всяком случае, мы не исключаем такой возможности. Если он жив, будем стараться его найти и освободить. Поверьте, мы сделаем всё возможное...

Полипов ещё что-то говорил, но Антонина Петровна слышала его, как сквозь туман. Майор капал в стакан какие-то капли, потом поил её водой, неловко проливая капли на пол. Очнулась Антонина Петровна уже у двери. Полипов провожал её, слегка придерживая под локоть. Она не слышала его голоса, не видела, куда идёт, в ушах стояло только одно: «Валера! Сыночек!»

Не помня себя, на ватных ногах Антонина Петровна добралась до автовокзала. Долго сидела на остановке, дожидаясь автобуса. Рядом сидели односельчане, говорили о погоде, о растущих ценах, о каком-то Ваньке, утачившем из дома телевизор и пропившем его. Раз или два её о чём-то спросили, но она или не услышала или сделала вид, что не слышит, боясь, что не сдержится и закричит в голос, забьется в истерике.

Полипов, после того как проводил Антонину Петровну,





чувствовал себя неважно. Проклятая работа, надо идти на пенсию. Военком назначил его ответственным за такие мероприятия, сегодня ещё надо было организовать похороны старшего лейтенанта Миляева, опять будут слёзы, плач, истерика. Из пузырька, стоящего на столе, майор накапал себе корвалол, морщась, выпил. Подумал, что на пенсию уходить ещё рановато: дети учатся, дом не достроен. Мысли его переключились на другое, на стройку нужно было завезти цемент, и через 10–15 минут он уже сидел на телефоне, яростно выбивая в ПАТП грузовую машину.

Добравшись домой Антонина Петровна прилегла. Болело сердце. Потом с трудом встала, загнала в сарай мычащую корову. Зорька, как бы сочувствуя своей хозяйке, ткнулась лбом ей в живот, шумно и жарко дыша. Прошёл месяц. Антонина Петровна написала несколько писем в часть, где служил сын, командиру. Ответа так и не дождалась. Она решила ехать в Чечню, найти место, где пропал её сын. Может быть, удастся найти людей, которые видели Валеру.

Однажды вечером пришёл школьный учитель Николай Андреевич, с женой. В селе уже знали, что Валерка Горшков пропал без вести в Чечне. Николай Андреевич передал её триста рублей, покашливая, сказал:

— Слышали, Антонина Петровна, что собираетесь ехать, искать сына. Вот возьмите от нас с Валентиной Ивановной на дорожку и не вздумайте отказываться. Сами знаете, Валера у нас был любимым учеником.

Однажды, тоже вечером, приехал участковый Игнатенко, долго вытирал о скребок грязные сапоги, шумно сморкался в носовой платок. В дом проходить не стал, постояли во дворе, поговорили о том, о сём. Между делом Игнатенко поинтересовался, когда Антонина Петровна собирается ехать, нет ли писем из воинской части или людей, которые, может



быть, видели сына. Участковый горестно вздыхал, снимая фуражку и вытирая лысину большим клетчатым платком. Хотел зачем-то заглянуть в сарай к корове и в баньку, но засовестился, засмутился и резко вдруг решил уйти. На прощанье зачем-то сказал:

— Ты извиняй меня, Петровна, начальство, будь оно неладно, требует. Мол, съезди к Горшковым, да съезди, может, солдат твой нашелся, или тебе надо чего.

Горько и обречено махнул рукой и, не задерживаясь, уехал. В этот раз он даже не зашел к своему куму Даниле Опанасенко на чарку.

Антонина Петровна так и не поняла, зачем он приезжал: помощь от властей предложить, что ли? Поднакопив чуть-чуть денег, она решила ехать. Однажды пришла соседка, она слышала по телевизору, что наших ребят, срочников, чеченцы отдают за выкуп. Тогда Антонина Петровна решила продать корову. Зорьку увёл армянин с соседней улицы. Корова долго и жалобно мычала во дворе, пока новый хозяин долго и нудно жаловался на жизнь, отсчитывал деньги. Антонина Петровна не стала выходить во двор, боялась, что заплачет. Корова, горестно мотая рогами, пошла за новым хозяином.

Перед отъездом Антонина Петровна ещё раз съездила в военкомат, спросить, а вдруг есть какие-либо известия о сыне, ведь не иголка же. Полипов сразу её вспомнил, засуетился, созвонился с Минераловодским военкоматом, долго что-то выяснял и согласовывал. Потом, довольно потирая ладони, сообщил женщине, что через два дня из Минеральных Вод в Чечню пойдёт автоколонна с гуманитарной помощью и её могут взять с собой. В этот же день Антонина Петровна выехала в Минеральные Воды. В поезде было много военных, совсем молодые ребята были пьяны, разговаривали резко, грубо. Офицеры почти совсем не обращали на них внимания. В Минводах она переночевала на



вокзале и утром поехала в военкомат. В Чечню должны были ехать два армейских «Камаза» с дровами и автобус с теплыми вещами и продуктами для солдат. Сопровождали колонну казаки с карабинами. Они посадили Антонину Петровну в автобус и вскоре тронулись в путь. Впереди колонны шел зелёный БРДМ с контрактниками. За рулём автобуса сидел совсем молоденький солдатик с тонкой, почти детской шейкой. Антонина Петровна обратила внимание на его руки, серые от ссадин и цыпок. Покопавшись у себя в сумке, она достала большое румяное яблоко, протянула его мальчишке-солдату:

— Возьми, сынок, наверное, соскучился по-домашнему.

Не отводя взгляда от дороги, он улыбнулся смущенной детской улыбкой:

— Спасибо, матушка.

У Антонины Петровны защемило сердце, так её называл только сын.

Часа через четыре колонна остановилась на блок-посту с огромным транспарантом «Чеченская республика». Водитель, останови машину и заглуши двигатель». Небритые милиционеры о чём-то переговорили со старшим колонны, заглянули в автобус, поочерёдно оглядывая Антонину Петровну. Она уже держала в руках фотографию сына. На её вопрос, не встречали ли они его где-нибудь, оба отрицательно покачали головами. За блок-постом колонна опять остановилась. Солдаты и казаки вышли из машин, по команде старшего зарядили оружие. Водители повесили на стекла дверей машин бронежилеты. К обеду были в станице Наурской. Старший колонны отвёл Антонину Петровну в военкомат, на прощанье пожал ей руку.

— Прощайте, мамаша, желаю вам успеха.

Военком был на месте. Он вызвал к себе какого-то контрактника, приказал:

— Проводишь женщину к главе администрации, отдашь ему



это письмо.

Глава администрации, пожилой чеченец с умным лицом и усталыми глазами, был дома. Прочитав записку, позвал жену:

— Хади,— сказал он ей. — Накорми Антонину Петровну обедом, пусть отдохнет с дороги. А я попробую узнать, как ей быть завтра. Посоветуюсь со стариками, как ей попасть на ту сторону.

Пока Хади накрывала на стол, Антонина Петровна, чтобы не быть обузой, напросилась почистить картошку. Женщины разговорились, говорила больше Хади, Антонина Петровна слушала:

— Наша станица считается уже освобожденной от боевиков, хотя по ночам тоже стреляют. Недавно кто-то поджёг школу. У нас жизнь почти мирная, пенсии вот стали давать, хоть какая-то работа появилась. Люди радуются, все уже устали от войны. А в Грозном ещё боевики, горит там всё. Утром посмотрите, до города километров семьдесят и над ним днём и ночью висит облако дыма. Вам, наверное, надо искать там. Говорят, что многих пленных солдат пригнали строить укрепления.

К вечеру появился Магомет Мусаевич, хозяин дома. Переодевшись, он колол дрова, потом долго умывался, ужинал. Всё это время Антонина Петровна ждала, ожидая каких-либо известий. Потом он прошёл в комнату, где сидела она. Антонина Петровна отложила в сторону спицы. Чтобы хоть как-то унять нервы, она начала вязать сыну тёплый свитер. Магомет Мусаевич помолчал, вздохнул:

— Завтра утром за вами заедет машина с моим родственником, поедете с ним по сёлам. Дело ваше очень нелёгкое, но, думаю, что Всевышний вас не оставит, люди помогут.

Утром, после снятия комендантского часа, подъехала машина,— старенький дребезжащий «Жигуленок». За рулём



сидел небритый мужчина, лет около сорока. Антонина Петровна сердечно попрощалась с хозяевами, Хади положила ей в сумку завёрнутые в полотенце тёплые пирожки, сказала:

— Это вам на дорожку.

До соседнего села ехали недолго. Здесь было всё то же самое: пустынные

улицы, дома без занавесок, женщины в чёрном. Какое-то подобие жизни ощущалось на асфальтированном пяточке перед зданием администрации. Люди торговали всякой всячиной: на табуретках, грубо сколоченных столах лежали шоколадки, жевательная резинка, семечки. Антонина Петровна зашла на рынок, разговорилась с женщинами, показала им фотографию. Никто никогда не видел её сына. Люди говорили, что искать надо на территории, не подконтрольной федералам. Советовали поговорить со стариками, те каким-то образом имели связь с полевыми командирами и боевиками. У многих в партизанских отрядах воевали сыновья, внуки, родственники.

Так в бесплодных поисках прошёл месяц. Антонину Петровну уже знали во многих сёлах, называли — солдатская мать. Несколько раз её задерживали армейские и милицейские патрули, доставляли в комендатуру, потом отпускали. Антонина Петровна решила пробираться в Грозный. По созданным коридорам туда и обратно ещё ходили люди. Выходили из Грозного женщины, старики — те, кого хоть кто-то ждал в России. Пытались выскользнуть и боевики. Однажды на посту задержали красивую девушку, светловолосую, синеглазую, она вела под руку старую, почти беспомощную чеченку, еле передвигающую ноги. Офицер что-то заподозрил — больше эту девушку никто не видел. Люди говорили, что при досмотре у неё на плече обнаружили синяк от приклада винтовки, шептались, что она была снайпером из Прибалтики или Украины. В Грозный шли люди, потерявшие там своих близких. У многих там оставались дети,





больные или немощные родители. Кто-то также, как и Антонина Петровна, искал своих сыновей, пропавших без вести. Однажды она услышала, как молоденький лейтенант, отдавая паспорт пожилой чеченке, сказал ей с горечью: «После этой войны нам всем придется заново учиться улыбаться».

Город лежал в руинах, лишь кое-где сохранились остовы домов. Грозный готовился к предстоящему штурму российских войск. Чеченцы и подгоняемые автоматами заложники строили укрепления, рыли окопы. Антонина Петровна забыла о еде и отдыхе. Иногда только вечером вспоминала, что сегодня ничего не ела. Однажды, в группе пленных, копающих яму, она увидела молоденького солдата, почти мальчишку с большим шрамом на лице.

Пленный косил взглядом в ее сторону, будто что-то хотел спросить или сказать, но не решился. Их охранял свирепого вида бородатый чеченец, с палкой в руках. Антонина Петровна попробовала подойти к пленным, но чеченец бросил палку и навел на нее автомат, она испугалась, что он будет стрелять и отошла. Спала Антонина Петровна в подвале разрушенного дома. Его обитатели находили себе пропитание в брошенных или разрушенных подвалах, там можно было найти консервированные овощи, варенье, иногда попадались даже консервы. Несколько раз заходили пьяные или обкуренные боевики, искали девушек или молодых женщин. На следующий день после того, как ее отогнал страшный чеченец с автоматом, она опять ходила на то место, хотела поговорить с мальчишкой-солдатом, но его нигде не было видно. Наверное, эта группа заложников уже работала в другом месте.

Однажды Антонина Петровна наткнулась на госпиталь, где оперировали боевиков. Робея, она стояла у порога, боясь войти. Врач в забрызганном кровью халате, пробегая мимо, крикнул:

— Чего стоишь, принеси быстро воды!





Антонина Петровна беспрекословно взяла ведро и пошла на колонку. Когда она принесла воду, врач непонимающе глянул на нее, потом протянул:

— А-а, это вы... Извините, я кажется накричал. Зайдите ко мне в кабинет через два часа, я должен закончить операцию.

Врач освободился через четыре часа, всё это время Антонина Петровна простояла у закрытой двери с табличкой главный хирург: Кorieв А.Р.

Выслушав ее, хирург сказал:

— Если вы будете просто ходить по городу и искать, то никого не найдёте, хотя запросто можете угодить под обстрел или шальную пулю. Мне как раз нужна санитарка, зарплату я вам не обещаю, а вот ночлег и еду получите. —Кориев закурил и добавил:— У нас тут много народа бывает,может, кто-нибудь вашего сына и встречал.

Так Антонина Петровна стала работать в госпитале. Она мыла полы, выносила утки, носила воду, делала всю тяжёлую грязную работу. Ее не обижали, чеченцы называли её: мама Тоня. Придя однажды в подвал, в котором обитала раньше, принесла хлеб и лекарство трехлетней девочке, живущей с матерью, похоронившей всех своих близких. Заговорившись, она не заметила, как пролетел отпущенный ей час. Случайно глянув в подвальное окошечко, она увидела группу людей, стоящих под охраной боевиков. Один человек — Антонина Петровна не видела его лица — стоял на коленях чуть поодаль. Его голова лежала на большой деревянной колоде, которые обычно используют при рубке мяса. Женщина испуганно вскрикнула:

— Что это?

Мать девочки безучастно ответила, что один из заложников хотел украсть гранату, но его поймали и сейчас судят шариатским судом. Один из чеченцев зачитал бумагу, Антонина Петровна не расслышала слов. Потом здоровенный мужчина взял в руки





топор, провел ногтем по лезвию и, размахнувшись, с утробным хеканьем рубанул лезвием по колоде. Сначала женщина не поняла, что произошло. Несколько мгновений тело находилось в прежнем положении, потом оно завалилось в сторону. С глухим стуком голова упала на землю, из окровавленного разрубленного горла хлынула кровь. Тело билось в агонии, казалось, что человек пытается встать. Через некоторое время ногти заскребли по земле, туловище выгнулось и затихло. Притихших и подавленных заложников куда-то увели.

Антонина Петровна, замерев от ужаса, побежала в госпиталь. Всю ночь она вздрагивала и не могла заснуть. Наутро привезли большую партию раненых. Кориев не отходил от операционного стола, ампутированные конечности складывали в полиэтиленовые мешки и сжигали в больничной кочегарке.

Поздно ночью в сопровождении большой свиты боевиков привезли бородатого чеченца лет сорока. Осколком ему разворотило живот, ранение было тяжёлым, и раненый был без сознания. Из разговоров окружающих и по царившему переполоху Антонина Петровна поняла, что привезли какого-то важного полевого командира, чеченского генерала. Кориев немедленно встал за операционный стол. Раненого, его звали генерал Муса, после операции поместили в отдельную палату, рядом посадили одного из охранников. Антонине Петровне Кориев приказал безотлучно находиться рядом. Генерал бредил, скрежетал зубами, пытался сорвать повязки. Антонина Петровна промокала его влажное от пота лицо влажной салфеткой, пытаясь облегчить боль и страдания незнакомого человека. Она была простой деревенской женщиной, никогда не делила мир на русских и нерусских. Помогая сейчас выжить этому человеку, она представляла, что кто-то сейчас возможно помогает её сыну.

Несколько суток раненый находился в забытье, поднимая на Антонину Петровну мутные от боли, ничего не видящие глаза, и



тут же их прикрывая. Наконец, среди ночи он неожиданно открыл глаза и что-то хрипло спросил по-чеченски. Антонина Петровна встrepенулась и наклонилась к его лицу:

— Что, сынок?

Он долго смотрел на неё, потом переспросил по-русски:

— Кто ты?

Положив ему на лоб прохладную ладонь Антонина Петровна ответила:

— Я — мама Тоня, солдатская мать. Спи, сынок, всё будет хорошо.

Он обессилено закрыл глаза и вновь задремал.

Шло время, раненый чеченец шёл на поправку. Ему сбрили бороду и он оказался совсем молодым мужчиной, лет тридцати с небольшим. До войны он работал преподавателем Грозненского нефтяного института; когда пришёл к власти Дудаев, молодые учёные-экономисты, увлечённые чеченским Че Геварой вошли в его команду. Потом началась война, полилась кровь. Всю территорию Чечни перепахали осколками мин и снарядов. Всю нормальную экономику парализовала война. Народ, лишённый источников существования, стал мародёрствовать, грабить, убивать. Во всех бедах были обвинены русские. Десятки и сотни тысяч нечеченцев лишились своего имущества, а кто-то и жизни. Буйным цветом расцвела работоторговля. Чеченская революция, как и все революции в мире, превратилась просто в бойню. Всё это генерал Муса рассказывал Антонине Петровне долгими ночами, когда его немного отпускала боль и набегающие мысли не давали покоя. Казалось, что он просто размышляет вслух, пытаясь выплеснуть свою боль. Простая деревенская женщина, сама глубоко несчастная и обездоленная, слушала его молча, хорошо зная, что ничем не сможет ему помочь.

Однако, когда раненому уже стало легче, он всё равно просил Антонину Петровну, чтобы она посидела рядом с его кроватью.





В ответ на его душевные терзания женщина рассказывала ему о своей немудрящей и незатейливой жизни: как вышла замуж, как родила сына. Как он первый раз произнес: «мама». Как его маленького поддела рогами корова, как он плакал от жалости, когда отец за это ударил корову палкой. Генерал засыпал под её неторопливый размеренный голос, и впервые за последнее время на его лице появился покой.

Однажды Антонине Петровне принесли адресованную ей записку. Писал ей тот самый солдат со шрамом, которого она видела на рытье окопов: «Тетя Тоня, я вас сразу узнал. Я видел вас на фотографии с вашим сыном Валерой. Меня держат в подвале полевого командира Исы Газилова и, наверное, скоро убьют. Меня зовут Андрей Клевцов».

С трепещущим сердцем и дрожащими руками Антонина Петровна бросилась на поиски Кориева. Не найдя его в госпитале, забежала в палату, где лежал Муса. Чеченский генерал не спал; лежа на спине, он читал какую-то толстую книгу. Увидев её заплаканное лицо, отложил в сторону книгу, строго спросил:

— Что случилось? Кто вас обидел?

Трясаясь от рыданий, Антонина Петровна, протянула ему записку, сбиваясь и захлёбываясь слезами стала рассказывать о том, как искала своего сына. Выслушав её, Муса что-то крикнул в коридор по-чеченски. Прибежал охранник с автоматом, дежуривший в коридоре. Бросив ему несколько фраз, Муса сказал Антонине Петровне:

— Вас проводят к Газилову и обратно. Желаю вам успеха.

Резиденция полевого командира Исы располагалась в кирпичном трёхэтажном доме, не разрушенном войной. Во дворе дома стояло несколько джипов, толпились боевики. Подвал дома был перегорожен металлической решёткой, на сваленных в кучу матрацах сидело и лежало с десятков пленных солдат. Сопровождающий Антонину Петровну чеченец о чём-то коротко



переговорил с караульным, и Антонину Петровну провели в беседку во дворе. Она пояснила, что ей нужен Андрей Клевцов, солдат со шрамом на щеке. Через несколько минут привели Андрея, он был худ и измождён. Ветхая одежда была порвана и местами лоснилась от грязи. Антонина Петровна присела рядом с ним на скамейку, боевики встали поодаль.

— Ну, рассказывай, сынок, всё рассказывай.

— Я служил с вашим Валерой в одном взводе, даже кровати стояли рядом. У него я и увидел вашу фотографию. В Чечню нас отправили вместе, опять были в одном отделении. Когда колонна попала в засаду, и наш БТР подорвался на mine, Валерку контузило, мне осколок попал в лицо, — он показал на свой шрам. — «Чехи» расстреляли нашу колонну, а когда уходили, заметили, что мы живы, прихватили с собой. Валерка был очень плох, почти не мог идти, я, сколько мог, тащил его на себе. Потом «чехи» нагрузили на меня цинки с патронами, а Валерку пристрелили, чтобы не задерживал отход.

Антонина Петровна слушала молча, в отчаянии закрыв лицо руками.

Андрей всхлипнул:

— Это было под Ножай-Юртом, я просил, чтобы Валерку не убивали, говорил, что он мой брат. Мне только разрешили присыпать его землей, чтобы не сожрали собаки. Я отнес вашего сына в воронку и похоронил под тополем.

Он расстегнул рубашку и снял с шеи медный крестик:

— Вот, это его. Валера просил отдать крестик вам, он знал, что вы его найдёте.

Закрыв лицо ладонями, Антонина Петровна зарыдала. Боль утраты, горечь одиночества сотрясали её тело. Она кусала сжатые кулаки, чтобы не закричать в голос.

— Скоро, наши пойдут на Грозный, и нас, скорее всего, расстреляют. «Чехи» звали к себе, агитировали воевать за





свой ислам, но я — русский и в русских стрелять не буду, — он сплюнул на землю, растер плевков подошвой. — Это хорошо, что я вас встретил. У меня никого нет, детдомовский. Очень обидно умирать, зная, что никто даже не узнает, как ты умер, и где тебя закопали.

Антонина Петровна прижала к себе его голову, сказала сквозь слёзы:

— Спасибо, сынок, что нашёл меня. Держись, ты будешь жить. Господь не оставит тебя в беде.

Пошатываясь, она пошла к воротам, сопровождающий пошёл следом. Андрея опять отвели в подвал.

В госпитале она сразу пошла к генералу.

— Муса, — сказала она, — Я — мать. Мне нет разницы, кто передо мной, мне одинаково близки русские и чеченские дети. Я недавно спасала тебя и сейчас прошу как мать. Спаси моего сына! Он у Исы Газилова и пока ещё жив.

Муса долго думал, молча смотря в окно. Может быть, он вспоминал свою мать или думал о людях, которых убили по его приказу и которых никогда не дождутся их матери.

— Ахмет, — крикнул он негромко, тут же рядом с ним появился охранник. — Принеси мне ручку и бумагу.

Написанную записку он свернул в четверо и отдал Ахмету: «Срочно отнеси это Исе и забери у него этого солдата. Как его зовут?» — спросил он у Антонины Петровны.

— Клевцов, Андрей Клевцов, — торопливо ответила она.

— Приведёшь этого Андрея Клевцова сюда и отдашь матери. Исе скажи, пусть подберет для него одежду и какой-нибудь документ. А то его или наши пристрелят или федералы, они это делают очень быстро.

Обессилев, генерал Муса откинулся на подушки. Антонина Петровна промокнула его влажный лоб полотенцем и села ждать.

Через час привели Андрея. Она нагрела ему ведро с водой,



и пока он мылся, собрала на стол нехитрую снедь. На следующий день мать и сын покинули город. Боевики из отряда генерала Мусы вывели их по своему коридору из осажденного города. Смешавшись с толпой беженцев, они прошли контроль на блокпосту. Дежуривший лейтенант узнал Антонину Петровну и по-свойски ей улыбнулся:

— Ну, что, мать, нашла всё-таки воина?

Антонина Петровна чуть улыбнулась в ответ. Андрей держал её под руку, помогая идти. Когда электричка от Ищерской подходила к Минводам, она, внезапно вспомнив, достала из сумки незапечатанный конверт, который ей вручил перед отъездом генерал Муса. На тетрадном листке было всего несколько слов: «Чтобы доказать свою силу, не обязательно встречаться на поле брани».

Ни Антонина Петровна, ни Андрей больше никогда не встречались с генералом Мусой. Война продолжалась ещё долго, но никто так и не сказал правду, за что и почему одни люди так ожесточённо убивали других



ИВАНОВА ВЕРОНИКА ЛЬВОВНА (ВЕРОНИКА ЛИВАНОВА)

Солнце над тундрой

Боооон — ударил бубен. Ветер подхватил звук и унес от каменных столбов на морском берегу, где пела богам колдунья, через вараку с плоской, будто ножом срезанной, верхушкой — к саамскому погосту.

Колдунья — нойда, как звали подобных ей, — была молода, не старше двадцати лет, а если бы не печаль, жившая в ее темных глазах, казалась бы совсем девочкой. Низкорослая, босая, в одежде из оленьих и тюленьих шкур, она подняла костяную колотушку и ударила в бубен.

Бооооооооооооон — растеклось в холодном воздухе.

Каменные исполины, которым предназначалась ее песня, возвышались над тундровой равниной, как два мрачных утеса: чтобы обойти кругом каждый, требовалось пятнадцать шагов, а в их тени могли спрятаться три сотни человек. Сейды, называли их саамы. Священные камни.

Эти двое были людьми — давным-давно. Киевитса и Киипери, два брата-нойда, могущественные колдуны, вечные соперники. Злой и завистливый брат Киипери задумал погубить Киевитсу. Семь лет длилась их битва: земля раскалывалась на части, горы рушились в море — все живое бежало прочь от их гнева — даже солнце боялось показаться на небе. Силы были



равны — ни один из братьев не мог взять верх. Тогда добрый брат Киевитса, видя, что творит их колдовство, обратил себя и Киипери в камень. С тех пор они стоят здесь, на берегу холодного соленого моря, которое рушшла кличут Сиверским, Ледовитым, а иногда Мурманским.

Неподвижные, безголосые, но не забытые. Чуэръвькарт — груды оленьих рогов у подножия доброго брата доходила колдунье до плеча. Злой брат не был обижен: на ягельном ковре под ним лежало десятка два рогов, а основание сейда блестело от жира. Нойда тоже принесла дары — обоим.

Бон-бон, бон-бон — как сердце, стучал бубен. Нойда танцевала вокруг каменных колдунов — маленькая тонкая фигура под сенью огромных скал — а сквозь ее сжатые зубы лилась песня. «Помогите», — пела она сейдам-братьям. «Не оставьте в беде», — великому ледовитому морю, соленому ветру, небу и солнцу у нее над головой. «Укажите путь», — тундре и ягелю под ее босыми ногами.

Когда небо над морем заволокло тучами, а в ветре появился запах скорого шторма, колдунья опустила бубен и поклонилась каменным братьям. Ее услышали.

* * *

17 июня 1801 года — в первое лето нового века, через два месяца и двадцать четыре дня после того, как в Михайловском замке был убит Император Всероссийский, а сын его Александр возложил на себя обагренную кровью корону — трехмачтовая гафельная шхуна «Нортумбрия» вышла из Лондона в Архангельск.

Неудачи преследовали судно с самого начала пути. В первые дни испортилась половина запасов воды — протухла настолько, что ее, даже разбавленную крепленным вином, пить стало невозможно. Бочки с солониной, купленные в Лондоне, — треть всего провианта — кишели белыми мясными червями. Трюм постоянно заливало — матросы откачивали воду круглые



сутки. Дважды корабль загорался, но пожары удавалось быстро потушить.

Дурные предзнаменования, перешептывалась команда. Не худо бы повернуть назад, говорили они с каждым днем все громче. Капитан смеялся над их глупыми суевериями.

Когда шторм подхватил «Нортумбрию» и помчал по Ледовитому морю, когда, наигравшись вдоволь, в щепки разбил ее о скалы, капитан, этот суровый и жесткий, как вареная кожа, человек, стоя на палубе за миг до гибели, он посмеялся снова? Сергей Григорьевич Волынцев — молодой мужчина двадцати пяти лет, пассажир злополучной «Нортумбрии» — думал, что вряд ли.

Он не знал, выжил ли кто-нибудь еще. Его смыло за борт до столкновения — он почти насмерть замерз в ледяной воде, но сумел уцепиться за обломок «Нортумбрии». Кусок палубы семь на семь футов оказался достаточно большим, чтобы лежать на нем, вытянувшись во весь рост, и достаточно прочным, чтобы три дня носить его по морю.

Сергей предполагал, что прошло три дня, но в высоких широтах солнце летом не заходит — ошибиться легко. Он не верил, что спасется, хотя и молился об этом — неистово, как никогда в прежней жизни. Хотя и это могло быть неправдой — теперь он ни в чем не был уверен. Прошлое: сырые улицы Лондона; мосты и прямые, как стрелы, проспекты Петербурга; поместье, где он, третий сын князя Волынцева, вырос; заряженный пистолет, который ждал его и уже не дожидется, — все померкло. Он остался наедине с серым морем без конца и края, сплошными серыми облаками и белым солнцем за ними. Раз за разом оно прокатывалось по небу, не касаясь горизонта. *Louis de chaque moment Serge*¹

¹фр. Наслаждайся каждым моментом, Серж.



Когда от жажды язык распух так сильно, что не помещался во рту, смолкли и его молитвы. Первые дни в открытом море он отчаянно мерз — кафтан из тонкой английской шерсти почти не грел, но это прекратилось — холода он больше не чувствовал. Сергей лежал на спине и старался не думать, сколько воды вокруг — горькой, ядовитой, невыносимо желанной. Стоит отпить глоток — и он не сможет остановиться, а это сулит безумие и смерть. Он так и так покойник, но отходить на тот свет, потеряв всякое человеческое достоинство, Сергей не хотел.

На исходе третьего дня он заснул, зная, что никогда не проснется.

Его разбудили голоса.

— Яммей, — сказал мужчина и добавил что-то неразличимое на слух.

— Рушшла, — произнес другой. — Кристо.

Сергей открыл глаза и пошевелился.

— Равк, — испуганно охнул первый. Звук быстрых шагов — люди ушли.

Он хотел их окликнуть, но сил не достало. Сергей вновь забылся — неглубоким лихорадочным сном, а следующее пробуждение принесло ему спасение.

— Пей, кристо, — сказала женщина. В зубы ему упиралось что-то твердое. — Пей. — Он послушался — сделал большой глоток холодной воды. Потом еще и еще, пока женщина не отняла ее. — Хватит.

Он приподнялся на локтях. Обломок «Нортумбрии» исчез. Сергей лежал на галечном берегу, у его ног плескались волны.

— Можешь говорить, кристо? — Спасительница села на камни в трех шагах от него. На вид ей было лет двадцать. Темные раскосые глаза, русые волосы, заплетенные в две косы, расшитая бисером одежда из оленьих шкур. В руках она держала кожаную флягу.



— Почему... — Он не сразу справился с голосом. — Почему ты зовешь меня так?

— Я вижу крест на твоей груди — ты кристо. — Христианин, понял Сергей. — А я саами. Мы дети великого оленя Мяндаша, внуки нойды Коддь-акки. — Она говорила по-русски правильно, но согласные в ее устах звучали приглушенно, а гласные она растягивала раза в два дольше, чем следует. — Айни — мое имя.

— Сергей, — представился он. — Волынцев Сергей Григорьевич. — Фляга в ее руках так и приковывала взгляд. — Спасибо тебе, Айни. — Он протянул руку. — Мне нужна еще вода.

Айни указала на море.

— Вот она, Сиркэ. Пей сколько влезет. А эта, — она подняла флягу, — моя.

— Пожалуйста, — просипел он. Жажда, отогнанная теми первыми глотками, вернулась сторицей.

— Нет. — Айни рассмеялась. — Элля, Сиркэ.

— Ты... — Ругательство чуть не сорвалось с языка. У него не хватит сил найти воду самому. Он спасся в кораблекрушении, три дня его болтало по морю, как щепку, и смерть сидела рядом с ним на обломке «Нортумбрии». Он выжил — чтобы умереть здесь, оттого что проклятая язычница жалеет для него воды. — Дай. — Сергей перевернулся, встал на четвереньки и пополз к ней, но добраться до фляги не смог. Айни оттолкнула его — ногой в сапожке с загнутым носом. Легкий толчок, но его хватило — Сергей рухнул на землю. Второй раз, он знал, ему не подняться.

— Я ждала тебя, Сиркэ, — как ни в чем не бывало, продолжала Айни. — Придет богатырь-рушшла, сказали мне боги. Он — ответ на твои молитвы, нойда. Но он не захочет тебе помогать. Заставь его. Она нужна тебе, Сиркэ? — Айни выдернула пробку из фляги и плеснула водой на прибрежную гальку. Сергей от такого святотатства чуть не лишился рассудка. — Ты ее получишь. Если поклянешься своим Богом-кристо исполнить любую мою просьбу.



— Мой Бог запрещает клятвы. — Мир сузился до фляги в руках Айни — Сергей не видел ничего, кроме нее. — Какую просьбу?

— Не знаю, Сиркэ, — улыбнулась саамка. — Жениться на мне. Осушить море. Достать звезду с неба, чтобы я могла носить ее в волосах. — Она снова пролила немного воды на гальку. — Принести мне черное сердце Корд-ольмая, человека-ворона.

«Нет», — хотел сказать он, но почему-то произнес совершенно иное:

— Хорошо. — Сознание меркло — он будто вернулся в море и опять засыпал, нет, проваливался в ледяную могильную темноту. — Хорошо. Любую просьбу. — Казалось, кто-то другой говорит его голосом. — Клянусь.

— Тогда живи, кристо. — Она поднесла флягу к его рту. — Пей.

* * *

Жилище Айни — одно из трех десятков точно таких же — стояло на краю саамского погоста. Вежа — называлось оно, а выглядело как конусообразная палатка из оленьих шкур, наброшенных на деревянные шесты.

Сергей лежал в ней — на тех же оленьих шкурах рядом с очагом в центре — дым от него уходил в отверстие на вершине конуса. Лежал много дней, сколько не знал сам. Мучимый горячкой, то приходя в сознание, то надолго забываясь, он безропотно выпивал горькие настойки, которыми потчевала его Айни. Ел рыбу или оленину, приготовленную ею — еда однообразная и не сказать, что вкусная. Сергей много бы отдал за краюшку хлеба, но им здесь и не пахло.

Когда Айни принялась колдовать над ним — подожгла пучок оленьей шерсти и, как ладаном, окурила им жалкое жилище, шепча что-то быстрое на своем каркающем наречии, — Сергей нашел силы возразить.



— Нельзя, — сказал он. Паленой шерстью воняло нестерпимо — этот запах его и разбудил, вытеснив все остальные: меха, дыма, рыбы, пота и больной постели.

— Толлхэм. Дурак-Сиркэ, — ответила Айни. — Умрешь.

— И думать забудь. — Он не знал, послушалась ли она.

Иногда он чувствовал себя настолько хорошо, что мог поддерживать разговор.

— Моя мать была саами, а отец рушшла — потому я знаю ваш язык. — Она шила — иголка так и мелькала в ловких пальцах. Кажется, Сергей никогда не видел Айни не за работой. — Он не хотел жить в Кольйоке, но ваш царь его заставил. Он был, — она прикусила губу, вспоминая слово, — посыльный?

— Ссылный, — догадался Сергей. Кола или Кольйок, золотая река, как называла ее Айни, — в ее устье стоит одноименный город-крепость. Русский город. И не так уж далеко от вежи, где не пахнет хлебом, где он, третий сын князя Волынцева, дрожит в лихорадке и никак не может согреться под оленьими шкурами.

— Да, — кивнула Айни. — Но воспитала меня Аццы-Паучиха, могучая нойда. Она научила меня всему. — Нойдами саамы зовут колдуний, это слово Сергей уже знал.

О своем народе Айни говорила много и охотно. Сергей и раньше слышал о саамах-лопарях на краю света, но никогда не думал о них. Вечные странники тундры, как и тысячу лет назад, они жили промыслом — охотой и рыболовством, не знали земледелия, письменности и войн. Не строили городов и храмов, а молились камням-сейдам. Зимой они оседали на одном месте, летом же кочевали по равнинам за стадами оленей. Блеск и тревоги большого мира почти их не касались. Но Айни считала такую жизнь единственно правильной.

— Корд-ольмай, — рассказывала она. — С виду он человек, но голова у него как у ворона. — Странно она говорила о нем — так поминают жестокий шторм или снеговую лавину — то



и то несет смерть, их боятся, но не ненавидят. — Порождение Яммейчара, незванным он придет в твой дом и ни за что не уйдет голодным. Тот, кто посмотрит в его глаза, — ослепнет, кто услышит крик — оглохнет. А те, чьи сердца он пожрет, станут его вечными слугами.

В одну особо жуткую ночь, которую, Сергей думал, он не переживет, когда горячка сжигала его с милосердием палача, он рассказал ей, какой путь привел его на «Нортумбрию», а после в открытое море и наконец в саамский погост.

— Истомин. Он вызвал меня, — бормотал он в лихорадочном полубреду. — Дуэль через платок. Берешься за один конец, противник за другой и — бах. — Сергей поднял руку и сделал вид, что нажимает на спусковой крючок. — Два пистолета, а пуля только в одном. Никогда не был удачлив. Я сбежал, три года жил в Лондоне. Ты ведь не понимаешь и половины того, что я говорю? — Айни сменила мокрый компресс на его лбу и ничего не ответила. — Если жена тебе хоть сколько-нибудь дорога, вспомни о ней до того, как она начнет бегать к любовнику. Истомин передал через отца письмо — сказал, что пистолет заряжен и будет ждать, пока у меня не хватит духа вернуться.

Медленно, но Сергей выздоравливал. Однажды, когда он почти оправился, в вежу вошел незнакомый саам. О чем-то поговорил с нойдой.

— Яммей, — произнес Сергей, когда skóry сомкнулись за ним. — Я уже слышал это слово.

— Яммей значит мертвец, Сиркэ. Он нашел тела на берегу. Море принесло их. — Она внимательно посмотрела на него. — Их похоронят. Талу скажет, что нужно — он кресто, как ты. — Язычник, подумал Сергей, принявший крещение ради шутки или выгоды. Неизвестно еще, что хуже.

Окрепнув, он стал часто проводить дни, сидя возле вежи Айни. Завернутый в skóry — его кафтан и раньше едва согревал,



а, побывав в воде, перестал вовсе. Сергей наблюдал за жизнью погоста: как по утрам, когда с моря наплывает густой, будто молоко, туман, мужчины уходят на охоту и возвращаются ярким северным вечером, неся туши оленей, лис и зайцев; как они вырезают из кости наконечники копий и стрел; как женщины плетут и чинят сети, коптят мясо и рыбу, прядут шерсть и кормят грудных детей — не отрываясь от дел и совсем не стесняясь.

С ним не заговаривали. Наверняка кто-то еще здесь знал русский — тот же Талу, мнимый христианин — но заводить знакомство с ним не спешили. Саамы поглядывали на Сергея, нет, не с враждебностью, а как на пустое место, старательно его не замечая.

Чем дольше он наблюдал, тем сильнее завладевала им тревога — в погосте что-то не в порядке. Что-то неправильное произошло или происходит, но понять, что именно, он не мог.

В вечер, когда Айни решила, что он выздоровел окончательно, они были в ее веже — нойда заканчивала шитье.

— Готово. — Она перекусила нитку.

Он давно понял, что она шьет одежду для него — куда более подходящую для похода по тундровым равнинам, чем его испорченный соленой водой наряд. Айни подала ему длинную хлопковую рубаху, кафтан и штаны из оленьих шкур, пояс и мягкие сапоги-каньги с загнутыми носами. Сергей переоделся. Вылитый саам, подумал он, оглядев себя. Его выдадут только глаза и рост — на две головы выше самого высокого мужчины в погосте.

Деньги, какие у него оставались, он переложил во внутренний карман нового кафтана. Ассигнации не пережили купание в Ледовитом море, но несколько золотых рублей и английских гиней он сохранил.

— Утром мы уйдем, — сказала Айни. — Пришло время тебе исполнить обещание.





— Это сейд, — объяснила она. — Священный камень. — Огромный, с карету, булыжник, о котором она говорила, стоял на четырех камнях не больше локтя в высоту, а те, в свою очередь, на длинном плоском валуне.

От моря они отошли на приличное расстояние, но его вкус еще чувствовался в северном ветре — слабый, едва различимый. Над тундрой восходила луна — бледный призрак рядом с полуполночным солнцем.

Сегодня он сам не раз представлялся себе призраком, бредущим сквозь страну теней, а Айни проводником его души — к аду ли, к раю — не понять. Здесь не было селений, даже покинутых, не было людей, и животные им не показывались. От горизонта до горизонта тянулась равнина и, чудилось, не будет конца их пути сквозь тишину и холод.

Тундра — неподвижная, вечная, безжалостная к тем, кто не знает ее законов, — ложилась под ноги лоскутным одеялом. Белел ягель; блестел нетающий летний снег в низинах; каплями крови алели брусника и клюква на низкорослых кустарниках; серыми пятнами лежали валуны; рыжим огнем полыхали лишайники; недвижимые, застыли глубокие синие озера; стелились по земле заросли карликовых берез и осин; серо-сиреневый вереск цеплялся за трещины в камнях, прятался от ветра за их высокими спинами.

— Здесь расходятся семь дорог, — поведала Айни за скудным ужином из вяленой оленины и ягод. Сергей успел понять, что она, никогда не бывавшая в городах крупнее Колы, называет дорогами. Не тропы даже — тундра проглатывает людские и звериные следы раньше, чем они превратятся в таковые. Пути отмечались вешками — шестами высотой в два человеческих роста — чтобы снег зимой не засыпал. Стоя у одного, всегда увидишь следующий — заблудиться почти невозможно. — На



Кольйок к рушшла. В Киркнес к племенам тарла, — к норвежцам, перевел про себя Сергей. — К саами на озере Имандра, что в Волчьей Тундре. — Произнося новое название, она указывала рукой на вешку, с которой начиналась дорога туда. — На Терский берег к поморам. К священным водам Сейдъявра в Хибинах.

— Пять, — подсчитал Сергей. — Шестая дорога — та, по которой пришли мы. А седьмая? — спросил он, зубами оторвав кусок мяса.

— Седьмая. — Ему так и не удалось вывести у нойды цель их пути — вот и сейчас говорить она явно не хотела. — По ней мы пойдем завтра. Ты обещал, помнишь, Сиркз? Поклялся своим Богом исполнить любую мою просьбу.

— Конечно. — Клятва, данная язычнице под угрозой смерти. Реши он отказаться от нее, сам архиепископ Петербургский не нашел бы в том позора.

— Это случилось одну луну назад. — Только тундра и ветер могли слышать ее, но Айни понизила голос до шепота. — Они явились с туманом, когда взошла Инцысь-тасть, утренняя звезда. — Сергей давно заметил — чем сильнее она волновалась, тем чаще проскальзывали в ее речи саамские слова. — Многие думают, они слуги Ямме-акки, матери мертвых. Не люди — демоны, как сказали бы вы, кристо. А главарь их Корд-ольмай, человек с головой ворона. — Она помолчала. — В то утро туман разговаривал на языках саами и рушшла. Почему слуги Ямме-акки говорят по-твоему, Сиркз? — Ответа она не ждала. — Они забрали детей. Наших детей. — Вот оно, понял Сергей. Вот что тревожило его в погосте — он не осознавал этого, пока Айни не подсказала. На три десятка веж ни одного ребенка старше грудного возраста — так не бывает. — Мы вернем их домой.

— Вдвоем? — У них даже оружия нет. На поясе Айни висит нож с костяной ручкой, Сергей и того лишен.

— Да, — кивнула нойда.





— Ваших мужчин они тоже забрали? Воинов, охотников, стариков, еще способных держать копье? — резко спросил он. — Они должны быть здесь, Айни, не я.

— Детей увели в Яммейчарр, Сиркэ. Никто не пойдет в тундру мертвых до срока.

— А нам, значит, туда и дорога. — От ее диких суеверий злость брала. Сергей потер виски.

— Мы войдем в Яммейчарр, уьем Корд-ольмая и освободим детей. — Судя по ее тону, речь шла о легкой прогулке. — Я пела сейдам на морском берегу, — добавила она. — Просила совета. Детей можно вернуть — с твоей помощью. Боги привели тебя ко мне. Инару, хозяин рыб, спас тебя в море. Биегг-ольмай, господин ветра, пригнал твой плот туда, где я смогла тебя найти.

Сергей молчал, обдумывая услышанное.

— Не заметил, чтобы в погосте кто-то горевал о пропавших, — сказал он наконец. Сергей вспомнил женщин-саами, как они смотрели на него — будто на пустое место. Но слез в их глазах он не видел ни разу.

— По ушедшему в Яммейчарр нельзя плакать, — как неразумному, объяснила Айни. — Иначе он вернется — упырем-равком. Ночью услышишь, как он шагает на одной ноге — из темноты к твоему порогу. Будет просить пустить его в дом, так жалобно, что самое жестокое сердце дрогнет. Откажешь — станет грызть стены. Зубы в труху сточит, но проберется внутрь. И сожрет тебя — нет для мертвецов ничего слаще крови живых.

К черту, подумал Сергей. Айни и всех саамов с их дремучей верой. К черту.

Позже, когда нойда спала, укрытая меховым одеялом, он сидел на мягком ягеле у камня-сейда и прикидывал, что делать дальше.

Куда бы она ни вела его, кто бы ни похитил детей ее погоста, дело, он чувствовал, кончится выстрелом — пулей или



костяным наконечником стрелы в его груди. Умирать Сергей не хотел — не здесь, на краю света, в холодной тундре, где он не был своим и никогда не будет.

«Осушить море», — сказала Айни. «Достать звезду с неба. Принести мне черное сердце Корд-ольмая, человека-ворона». Будь у него выбор, Сергей попытал бы счастья со звездой или морем.

Грудь Айни мерно поднималась и опускалась, растрепанные косы лежали на плечах, на ее левую щеку налип желтый листик карликовой березы. Она спасла его, но если бы не клятва, вырванная силой, оставила бы умирать там, на берегу. Она лечила его — но лишь потому, что нуждалась в компании для похода в Яммейчарр, чем бы он на самом деле ни был.

— Я никчемный человек, Айни, — сказал он спящей. — Третий ненужный сын, любовник, застуканный в спальне чужой жены, трус, сбежавший от дуэли. Не герой, посланный богами. Мне просто повезло тогда, на «Нортумбрии», я выжил, а ты нашла меня. Прости.

Он оставил ей две трети припасов и ушел, не оглядываясь, — в Колу.

Ему предназначен совсем другой пистолет и другая пуля — не та, которую обещает Айни.

* * *

Имя его отца творило чудеса даже здесь, на берегу Ледовитого моря. Сергей получил комнату в доме внутри деревянных стен крепости. Слугу — однорукого солдата, столь древнего, что он, наверное, помнил болота на месте нынешнего Петербурга.

— Волей Всемилостивейшего Государя Павла, упокой, Господи, его душу, в Коле нет прежнего гарнизона, — сказал комендант — Жданов Николай Петрович. Дородный круглолицый военный в звании гвардии-капитана, он всем видом изобразил



сочувствие — Сергей почти поверил.

Они сидели в покоях Жданова — он за столом, Сергей напротив него на низком стуле.

— Пушки, гаубицы, «единороги» и боезапас велено было переправить в Соловецкий монастырь, — говорил комендант. — Туда же перевели гарнизон, а здесь оставили инвалидную команду. Под моим началом, Сергей Григорьевич, пятьдесят душ. Двадцать калечных, но способных держать ружье, и пятнадцать тех, кто еле ложку ко рту подносит. Остальные старики, которым давно пора на тот свет. Сколько, подумайте, солдат я могу вам дать, чтобы не оставить крепость без защиты?

— Речь о детях, господин комендант, — напомнил Сергей.

— Вам же лошади понадобятся, — будто не слыша, продолжал Жданов. — Припасы, оружие, проводник. Вы даже не знаете, как долго туда ехать.

Он был прав. От путеводного камня-сейда до Колы Сергей добрался пешком за три дня, но далеко ли от него Яммейчарр — не имел понятия.

— Дети... — вновь попытался он.

— Дети язычников. Дети, которых нужно вызволять из ада. — Сергей пораженно посмотрел на коменданта — о Яммейчарр он не заикался. — Удивлены? — угадал тот. — Саамы меняют в Коле песцов на муку, хлопок и железную утварь. Слухи давно ходят, Сергей Григорьевич. Разные погосты, разное время, но в каждой истории есть дети, уведенные одним туманным утром в страну мертвых. — Он улыбнулся, как бы призывая не воспринимать его слова всерьез. — А еще это чудовище с головой ворона. — Корд-ольмай, добавил про себя Сергей. — Может, вам поискать подмоги среди духовных лиц? Мои солдаты, боюсь, не обучены воевать против дьяволов.

— Разумеется. — Здесь Сергей помощи не получит.

— Суеверия саамов столь же занимательны, как и нелепы.





Однако они боятся идти за своими детьми. Если они не нужны родителям, нам и подавно. — Жданов поднялся со стула, дав понять, что разговор окончен. — В заливе стоит китобойное судно — завтра оно уйдет в Архангельск. Мой вам совет — садитесь на корабль, а затем езжайте в Петербург, к отцу. И не тревожьте душу чужой бедой. Смею надеяться, — напоследок сказал комендант, — вы расскажете отцу о том радушном приеме, какой мы вам оказали. Не хотелось бы разочаровывать Его Высокопревосходительство.

Сергей обещал.

Той ночью ему приснился сон — такой же он видел вчера и позавчера — каждый день с тех пор, как оставил нойду у путеводного камня.

Огромный белорогий олень шел к нему по яркой летней тундре. Копыта его беззвучно ступали по ягелю, не оставляя следов, рога размахом в человеческий рост блестели на концах, как заостренная сталь, ноздри свирепо раздувались, угольно-черные глаза сияли гневом. Все в нем кричало о силе, о красоте и ненависти — к нему, к Сергею.

«Мы дети великого оленя Мяндаша», — как наяву, услышал он голос Айни.

Зверь затрубил. Сергей упал на колени — голос ударил его с силой крепостного тарана. Олень наклонил голову, выставив рога, и пошел на него — убивать — Сергей не сомневался.

И тут свет померк, ягель из белого стал серым, то же произошло с небом и солнцем — будто что-то вытянуло из мира краски. Олень исчез — на серой равнине лежали его кости — когда Сергей дотронулся до них, они рассыпались серым прахом.

«Тундра мертва без своих детей, Сиркэ».

Он проснулся. Было утро: с Кольского залива напал туман, такой густой, что, выглянув в окно, Сергей увидел только размытые силуэты домов и деревянных башен крепости.





— Я сделал все, что мог, Айни. Мне нечем тебе помочь, — сказал он туману. Сегодня корабль увезет его в Архангельск, а после его ждет Петербург, дом Истомина и заряженный пистолет — один из двух.

Он вспомнил, как лежал в веже нойды, под оленьими шкурами, как лихорадка сжигала его живьем — и вполовину не так сильно, как сейчас стыд.

У однорукого солдата, приставленного к нему, Сергей потребовал перо, бумагу и чернила.

Позже он стоял на пристани, ожидая, когда с китобоя спустят лодку, чтобы забрать его, и вертел в руках два запечатанных конверта. Письма написаны, оставалось одно — решиться. Крупные белые чайки с криками кружили над заливом. Пахло гнилым деревом, водорослями и морем.

Ему так никто и не помог. Во власти отца было прекратить эту комедию с дуэлью одним словом, но что он сказал вместо того? «Умеешь волочиться за чужими женами — умеи отвечать».

Первое письмо он отдал капитану китобоя вместе с третью всего имеющегося у него золота. Остаток достался однорукому старику — со строгим наказом передать второе письмо коменданту через три дня.

Не глядя на уходящий без него корабль, Сергей покинул причал.

* * *

Сергей понял, почему саамы считали это место адом, едва увидев. Окруженная полукольцом сопок, мертвая долина спускалась к морскому берегу. Крупный черный песок усыпал ее столь плотным слоем, что сквозь него не могло пробиться и травинки. Из песка торчали скалы: некоторые походили на исполинские когти — будто жившее под землей чудовище пыталось выбраться на свет. Другие можно было принять за искаженные болью лица и человеческие фигуры, которых сминала



и корежила неведомая сила. Даже солнце не желало выходить здесь из-за туч — на долине все время лежала тень.

Сергей был далек от суеверного страха саамов перед Яммейчарр, но и ему становилось не по себе, когда ветер проносился мимо скал и выл, порезавшись об острые грани, — в его вое слышалось что-то замогильное.

Он осмотрел лагерь разбойников с ближайшей сопки — варака, сказала бы о ней Айни. Три дома с плоскими крышами на морском берегу. Черные от старости, а сквозь щели между досками виден огонь, горящий внутри.

Всего разбойников была дюжина — Сергей наблюдал лагерь с самого утра и рассмотрел всех. Семеро русских, пять саамов — он был слишком далеко, чтобы слышать речь, но одежда говорила сама за себя. Все вооружены, но лишь у одного саама висит за спиной ружье, остальные его соплеменники довольствуются луками.

Разумеется, головы ворона на плечах не было ни у кого.

Пленников он насчитал впятеро больше, чем похитителей. Дети от пяти до двенадцати — мальчиков и девочек примерно поровну — пара подростков и, чего Сергей никак не ожидал, а, увидев, пришел в ужас, — она, Айни.

Несколько раз в день их выводили справить нужду. Тогда их охраняли — пять человек — в остальное время разбойники полагались на крепость засовов. Они даже стражу не выставляли — явно не боялись нападения. И неудивительно — до того, как Айни позвала сюда Сергея, никого не волновало, что случается с похищенными Корд-ольмаем детьми.

Он переждал ночь, а ранним утром, когда из моря поднялся туман и растекся по мертвой долине Яммейчарра — будто облако упало с неба, скрыв усеянную камнями землю, скалы и дома на берегу, — Сергей пробрался в лагерь.

— Айни, — шепотом позвал он у двери дома, где держали



пленников. Изнутри донеслись шорохи, толкотня и тихие голоса. — Позовите Аини. — Он не знал, как сказать это по-саамски, но его поняли.

— Здравствуй, Сиркэ. — Сквозь щель между дверными досками он видел часть ее щеки и глаз. — Я знала, что ты вернешься.

— Боги тебе сказали? — весело спросил Сергей. Он был рад ей — больше, чем мог подумать.

— То, что ты не слышишь своего Бога, не значит, что он молчит, — серьезно ответила она.

— Как получилось, что ты здесь?

— Те четверо саами. Собаки Корд-ольмая, — почти неслышно проговорила она. — На следующий день после того, как ты ушел. Вуйлахте, предатели. Они вели сюда детей и наткнулись на меня.

— Я вас освобожу, — перешел к делу Сергей. — Завтра-послезавтра вы отправитесь домой.

— Завтра нас здесь не будет. — Аини покачала головой. — Я слышала — сегодня нас заберет корабль. Твой Бог умел ходить по воде. Скажи, тебя он научил? Сможешь догнать меня в море, Сиркэ? — В ее голосе прорезалась такая тоска, что Сергея пробрало дрожью — и ледяное северное утро было в том неповинно.

Сегодня. К этому он готов не был. Казалось, он все продумал, просчитал чуть ли не до минуты, но если они выйдут в море — все пропало. Вдалеке трижды прокричал ворон.

— Куда вас везут?

— Не знаю. Есть нож, Сиркэ? Корд-ольмай отобрал мой.

— Есть, — ответил он рассеяно. Однорукий солдат подобрал ему один — без особых изысков, с крепкой деревянной ручкой и заточенный, как бритва.

Сегодня. Их заберут сегодня. Что же делать?





— Дай. — Она просунула пальцы сквозь щель. — Дай, Сиркэ.

Он почти послушался, но, коснувшись рукояти, понял наконец, зачем он ей.

— Ты не посмеешь, — прошипел он.

— Ни один ребенок саами не сядет на этот корабль, Сиркэ. Тиррвсэ. Пожалуйста, дай.

— Нет, — оборвал он. — Вот что — уходим прямо сейчас. Туман нас спрячет. Предупреди детей, чтобы вели себя тихо. — Когда он отодвинул засов, железо оставило на пальцах ржавые пятна. — Выходите.

Все, что случилось потом, Сергей запомнил урывками.

Вот они идут берегом моря — дети впереди, они с Айни замыкают колонну. Песок шуршит под их осторожными шагами, по правую руку плещутся волны, по левую ветер в скалах поет свою бесконечно одинокую песню. Дыхание паром срывается с губ, тут же смешиваясь с туманом, — они бредут сквозь него — будто плывут в холодной призрачной реке.

Скрип ржавых петель — протяжный, визгливый. Сергей оборачивается. Размытый человеческий силуэт у одного из домов — там кто-то стоит. И он их видит.

— Бегом! Живо! — кричит он быстрее, чем человек успевает поднять тревогу. Айни повторяет за ним по-саамски. — Вразнобой. — Так хоть у некоторых есть шансы.

Дети бросаются врассыпную. Сергей бежит за ними, рядом Айни, как он, сдерживает бег, чтобы оставаться позади. А за спиной уже слышны низкие мужские голоса, ругань, топот. Выстрел. Второй. Третий. Что-то дергает его за правое плечо с такой силой, что Сергей валится плашмя на песок. Кисло пахнет порохом, горько — морской водой. Пока он не чувствует боли, но стоит увидеть кровь на рукаве, и она обрушивается на него — ослепительная, жгучая.

Айни опускается рядом. Зажимает рану — сквозь ее пальцы



сочатся черные в неверном свете струйки.

— Беги. — Он пытается оттолкнуть ее, но руки — как ватные.

— Пошла прочь.

— Элля. — Это слово он знает. — Нет, — повторяет Айни.

А они уже идут к ним, опустив оружие, — теперь беглецы никуда не денутся.

* * *

Когда дверь отворилась, впустив одноглазого саама, — того, кто владел ружьем — в доме их стало пятеро. Сергей возле печи, главарь разбойников на табурете напротив, а за его спиной двое его подручных, оставленных для охраны — остальные ушли искать детей.

— Поймали еще семерых, Корд-ольмай. — Айни говорила на русском точно так же — протяжно и глухо.

От мысли о ней Сергея кольнул страх. Что с ней, жива ли она, он не знал — схватив, их развели по разным домам. Новых выстрелов он как будто не слышал — это внушало надежду.

— Другие? — хмуро спросил Корд-ольмай — настоящего имени он Сергею не открыл. Русский главарь шайки и впрямь походил на ворона. Лет сорока, высокий и худой до изнеможения, одетый в когда-то щегольский, но порядком износившийся кафтан. Черные, маслянисто поблескивающие волосы он зачесывал на затылок, близко посаженные глаза почти не двигались, а в его лице — будто кожу натянули на кости черепа, забыв добавить хоть гран мяса — неуловимо сквозило что-то хищное, голодное. Но не только. То, что различало его и двух душегубов за его спиной. Его речь, жесты, манеры — Корд-ольмай был рожден для совсем другой судьбы — не водить за собой разбойников и не красть саамских детей.

— Как не бывало, — ответил саам. — Но мы их найдем. — Глядя на его левую пустую глазницу, Сергей вспомнил рассказ Айни. «Тот, кто посмотрит в глаза Корд-ольмая, — ослепнет».



Сердца его человек-ворон точно отведал — чувствовалась в сааме униженная, раболепная преданность своему главарю.

Это одноглазый ранил Сергея — так он по крайней мере сказал. Он же перебинтовал ему плечо, когда Корд-ольмай забеспокоился, переживет ли Сергей допрос. Рана казнила его при каждом вздохе, а тугая повязка уже пропиталась кровью насквозь.

— Вы стоили мне годового дохода, Сергей Григорьевич, — сказал Корд-ольмай.

Ранее Сергей поведал ему почти все: о «Нортумбрии»: как Айни нашла его на берегу, как он жил в ее погосте, как оставил ее и ушел в Колу, чей комендант отказался дать ему солдат. Умолчал только о письмах.

— Мой отец человек могущественный и богатый. Он заплатит выкуп. — О положении князя Волынцева Сергей тоже рассказал, да и сам Корд-ольмай был о том наслышан. — За меня, Айни и остальных, кого вы поймаете. Выйдет больше, чем вы бы получили, продав в рабство полсотни детей. И в Америку меня везти не надо. — Ему было интересно, верна ли его догадка.

— Я не торгую рабами. — Корд-ольмай будто и вправду оскорбился.

— Иначе это не назвать. — Плечо в ответ на малейшее движение обжигало болью — как открытым огнем. — Почему вы крадете одних детей, Корд-ольмай? Неужели они стоят дороже?

— Быстрее учатся языку и забывают прежнюю жизнь, а работают немногим хуже взрослых. Обладай их родители подобными достоинствами, я брал бы их тоже, но им уже ничем не помочь. Я не работорговец, Сергей Григорьевич, — повторил он. — Я оказываю детям милость — забираю из дикарского невежества их земель, из семей идолопоклонников, из жалких хижин, которые они считают домами, и дарю им целый новый мир. Цивилизацию. Культуру. Прогресс. — Одноглазый саам и бровью





не повел, пока Корд-ольмай высказывался о его соплеменниках. — Будь вы на их месте, разве не обрадовались подобному дару?

— Сомневаюсь. — Ему показалось, или он слышал тихое лошадиное ржание вдалеке? У Корд-ольмая лошадей он не заметил.

— Не судите скоро. — Его улыбка походила на трещину, разделившую лицо на две части. — Все они сначала плачут и зовут своих тундровых демонов, но в итоге благодарят меня. Рабами, кстати, они не становятся. С каждым заключают контракт. Отработают стоимость их покупки и содержания — и смогут идти на все четыре стороны, никто их не удержит.

— К делу, — не стал спорить Сергей. — Вам следует послать человека в Петербург. Если дадите бумагу и чернила, я напишу письмо — так отец скорее поверит, что я ваш пленник. Но предупреждаю — вы не получите ни копейки, пока он не убедится, что мы живы. Все мы, не только я.

— Заманчивое предложение, Сергей Григорьевич. — Корд-ольмай смерил его тяжелым взглядом. — Я бы рад получить за вас выкуп, раз вы оставили меня без товара. Но, боюсь, ваш отец, вернув вас, тут же натравит на меня всю полицию Империи. Негостай, — обратился он к одноглазому, — его и саами, которую с ним взяли. Выведите вон и убейте.

А ведь все на самом деле кончится пулей, подумал Сергей, когда их с Айни поставили на колени у кромки прилива, лицом к морскому простору. Не той пулей, к которой он стремился, покидая Лондон, но все же.

Все оставшиеся в Яммейчарр разбойники были здесь, как и их главарь.

— Спасибо, Сиркэ, — шепнула Айни. Кажется, она совсем не боялась. Айни протянула руку и легко пожала его пальцы. — Дети Мяндаша найдут дорогу домой.

Сергей не видел, но почувствовал, как кто-то, наверняка



одноглазый, встал за его спину. Ружейное дуло уперлось ему в затылок.

— Стойте, — взмолился он. — Не все меряется деньгами, так, Корд-ольмай? Вы же благородный человек, это любому понятно. — Сергей старался не частить, но голос не слушался. — Какая бы причина ни заставила вас стать разбойником — мой отец это исправит. Он вернет вам положение, титул и земли, если у вас их отобрали. Соглашайтесь — другого такого шанса вам не представится.

— Умрите достойно, Сергей Григорьевич, — устало сказал Корд-ольмай. — Не позорьте отца. — И добавил для Негостая: — Стреляй.

Сергей зажмурился.

Грянул выстрел.

Не сразу осознав, что жив, Сергей, замирая от ужаса, повернулся к Айни. Но с ней все было в порядке. Зато один из разбойников корчился на берегу — по кафтану на его животе расплывалось кровавое пятно.

Со стороны мертвой долины донеслось конское ржание — по черным пескам Яммейчарра к ним спешили всадники в зеленых мундирах.

На Сергея никто не смотрел. Он потянул Айни вниз и за секунду до того, как плечо взорвалось болью, лег на песок рядом с ней.

Грохотали выстрелы. Одноглазый успел дважды нажать на спусковой крючок, прежде, чем упал — волна, окатив его, вернулась в море розовая от крови. Другой разбойник бросил ружье и пустился бегом. Корд-ольмай поднял руки, показывая пустые ладони.

Сергей уже мог различить лица всадников. Девять человек — некоторых он видел в Коле, а того, кто скакал позади, знал еще лучше. Жданов, дородный комендант русской крепости на



Ледовитом море, сам ехал к нему на выручку.

— Я написал два письма, — потом объяснит он Айни, когда они останутся вдвоем. — Первое — отцу, где сказал, что направляюсь в Яммейчарр один, потому что комендант Колы отказался выступить против разбойников. А второе передали Жданову, когда я был уже у путеводного сейда. Тогда он узнал, что первое письмо давно в море, летит на парусиновых крыльях в Архангельск, а затем в Петербург. — Он стыдился этого поступка — после он не раз повинится перед Ждановым, пока не получит прощение. Но все же Сергей почти хотел увидеть его лицо в тот момент, когда тот понял, что сын князя Волынцева, которого он так боялся разочаровать, собирается умереть на его земле, а Его Высокопревосходительство обязательно об этом узнает — дай только время. — Я думал, они будут здесь через день-два после меня, но Жданов, видно, сильно их подгонял.

Когда стихли выстрелы, Сергей поднялся, отряхнул с ладоней черный песок. Айни отказалась от протянутой руки и встала рядом с ним — плечом к плечу.



ИВАНОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА

История Софьи

Мать у Софьи была красивой и строгой. Звали ее Лауной. Она родилась в семье православных городских цыган, и с шести лет пела в церковном хоре. В тринадцать ее выдали за полевого цыгана, веселого красавца Кондрата Бурду. С его табором она кочевала по дорогам год за годом, родила двоих детей. А потом Кондрат поехал продавать коней и пропал. Ждали его до холодов, искали через знакомых и незнакомых цыган, не нашли. Долго и горько плакала жена, тосковали сестренки и братишки... Однако дошли до табора слухи, что сидит Кондрат в тюрьме и не знает, как весточку своим подать... Дождались теплых дней, повернули табор, остановились на широкой реке неподалеку от большого города. Стали по очереди ходить в «присутствие», расспрашивать, разузнавать... А тут приехала в табор сама жена коменданта, погадайте, мол, мне, цыганочки, отчего муж меня не любит, как прежде любил... Взялась гадать ей сама Лауна. Все рассказала, все растолковала, травы заговоренной дала, велела понемногу мужу в вино сыпать. Пришла пора – сказала комендантша: «Проси, что хочешь!»

Вот и вернулся в табор Кондрат, да только не тот человек уже он был: худой, седой да квелый. Пожил еще немного, да помер. Взяла тогда мать Софью за руку, маленького Мирона на руки, поклонилась Кондратовой родне, прощения у всех



попросила, и ушла в обратный путь к матери-отцу. Да по дороге занемогла, заболела и померла под кустом.

Девять лет Софьюшке было. Сняла она мамин крестик, надела на шею братишке. Своими ручонками, ножом да котелком выкопала матери могилу, привязала на ветку красную ленту из ее косы. Как умела, помолилась Богу, нож на веревочке спрятала в складках одежды, прицепила на пояс котелок, в котором лежали завернутый в листья лопуха кусок серого хлеба, да маленький узелок с солью, взяла на руки плачущего брата и потихоньку, от голода и усталости шатаясь, побрела куда глаза глядят...

Услыхала: коровы мычат. Посадила Мирона в кусты, наказала сидеть тихо. Выплела из косы ленту, подобралась, одну корову приманила соленой ладошкой, отбила от стада, в ивняк загнала, привязала и выдоила, сколько котелок взял. Напоила ребенка и сама напилась, а хлебушек сберегла. Уснули оба с братом в обнимку в придорожных кустах. Проснулась от холода. Уж темнело, луна взошла. Брата обнимает, качает, что бы не проснулся, ножки ему в свою индараку (широкую юбку) кутает. Вдруг подбегает к ней собака большая, страшная, сначала показалось, что волк. Но потом разглядела, что шерсть на ней белая с рыжими пятнами. Софья гонит собаку сердитыми словами, а кричать боится, брата бы не разбудить. В два прыжка исчез пес в кустах, а через немного времени послышался стук копыт по камням и из седла над ней склонился бородатый человек:

– Чьи ?!

От страха Софья онемела и так крепко прижала к себе ребенка, что тот проснулся и заплакал. Софьюшка дрожала, едва сдерживая крик ужаса. В это время рыже- белый пес выскочил вперед, толкая ее носом. Она все старалась уберечь братишку, отворачиваясь от собаки и пытаясь прикрыть малыша собой. Но пес вдруг сунул морду в котелок и в один миг поглотил хлеб. Крик горя и отчаяния вырвался из груди девочки, она с ожесточением



и ненавистью стала пинать босыми ногами собаку, не обращая внимания ни на плач малыша, чьи ножки болтались прямо перед зубастой мордой, ни на страшного бородача на лошади.

– Эй, уймись, уймись! – закричал мужик, схватил Софью за косу, но не толкнул, не бросил наземь, а лишь остановил, не позволяя двигаться.

Сквозь всхлипы она причитала и выкрикивала ругательства в адрес собаки.

– Тише, тише, дам я тебе хлеба! Цыганка, что ли? Да не бойся, не кричи, дитя, вон, перепугала!

Мужик спешил, и долго расспрашивал, откуда они, почему одни, где табор, а потом, пообещав хлеба, посадил детей на лошадь и повел в поводу. Собака бежала рядом.

Подъехали к большому дому на самом краю села. Софья прыгнула на землю и приняла у мужика повод, пока тот отворял ворота. Мирошка смирно сидел, вцепившись в лук седла, ждал, а потом привычно упал в протянутые руки сестры. Вошли в темные сенки, со скрипом отворилась тяжелая дверь, за которой висела цветная занавеска. Чем больше подталкивал хозяин Софьюшку в дом, тем больше путалась она в занавеске, отчего захныкал Мирон, вцепившийся в руку сестры. Мужика разобрал смех, в ответ засмеялся высокий женский голос, ловкие руки освободили девочку. Ей открылось пространство просторной чистой избы с печью и большим столом посередине. Она впервые видела обычное жилище оседлого человека. Перед Софьей стояла статная крестьянка в белом платке на русых волосах, узлом свернутых на затылке. Высокую грудь, покрытую светлой кофтой, украшали янтарные бусы. Женщина ахнула, опускаясь на корточки перед Мироном, во все глаза рассматривая его замурзанную мордочку и спутанные пыльные кудри.

Софья тихонько пискнула:

– Дяденька! Хлеба обещались!





Услышав знакомое слово, снова заревел Мирон:

– Маро! Маро! Дэ маро!*

Мужик, между тем, шептал жене на ухо, оглядываясь на детей, а она тихонько ойкала и прихлопывала ладонью рот. Потом сказала, обращаясь к Софье:

– Давай –ка искупаем малого. Грязному есть нельзя. А ты-то сама, грязнее я в жизни не видала!

– Могилку маме копала... В ручье умывалась... – Побормотала едва слышно девочка.

Хозяйка осеклась и замолчала. Потом подошла поближе, крепко обняла и прижала к себе Софьюшку...

Софья не понимала, почему нельзя есть грязному и как купать ребенка – за окнами – то темень! Но все же задала вопрос:

– А что в ямку постелем?*

– В какую ямку?– удивилась хозяйка, доставая из-за печи деревянное корыто . Софья было решила, что плохо сказала на чужом – русском –языке, но быстро поняла, что это и есть то, в чем моют детей гадже.

Во время купания Мирон перестал реветь и сосредоточенно изучал глазами и руками воду и корыто. Особенно его интересовал кусочек белого мыла. Он все пытался засунуть его в рот.

Потом его завернули в теплую – с печи– тряпицу, и хозяйка распорядилась:

– Ты давай– ка, мойся сама, а я ему пока сухарик дам, а то заорет сейчас. А голову я тебе вымою. Вот ведро, вода теплая, вот ковш. Да помаленьку лей!

После хозяйка надела на Софью свою рубаху, подпоясала и подвернула рукава. А потом хозяева, их проснувшийся сын Яков, чуть постарше Мирошки, и прибежавшие работники смотрели, как цыганята едят. Сначала у Софьи от голода и от волнения сильно дрожали руки, на стуле сидеть было неудобно, но, боясь не понравиться хозяевам, она ела деликатно, как учила мать.



Потом руки дрожать перестали, и, глядя на не стеснявшегося, перепачканного кашей Мирона, она стала смеяться вместе со всеми.

Наевшись, Мирон стал засыпать прямо за столом, и, протянув ручонки, пролепетал: «Дае, лэ ман...»* И сестра горько заплакала.

Наутро Софьюшка с благодарностью поклонилась хозяйке в пояс и спросила свою индараку и дэкло .

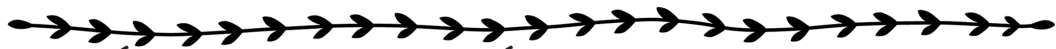
- Ты куда собралась, черноглазая? Не пушу! Юбки твои выстираны, сохнут. Не украду, не бойся! Мирона пожалей, глупая! Иди- ка лучше, детей одень, пусть на солнышке побегают.

Яшка с Мирошкой, сытые, радостные, играли во дворе, и ничуть им помехой не было, что лепетали на разных языках!

У Софьи встал ком в горле, когда она подумала о голодных сверстниках и малышах из табора... Она зажмурила глаза, что бы не выпустить слезу, и перед ней возникла картина лодыж*. На костре кипел котел, вкусный дымок расплывался над шатрами и кибитками, женщина в красном платке – тетка Марьяна, размешивала длинной палкой варево, ребяшня крутилась рядом, подбрасывая хворост в огонь. От сердца отлегло – в таборе все хорошо, есть еда. Софья успокоилась и заулыбалась. Она не знала своей судьбы, но вчерашнее чувство горя и страха перебивалось неуверенно-радостным предчувствием сытой и теплой жизни.

Вот и стали Софья с Мироном жить у богатого егеря по имени Гавриил и его жены Соломонии. Шелкововолосый Яков, крикливый, шумный, капризный, как своенравный жеребенок. Матери некогда его ублажать, скотины полон двор, одних лошадей шесть голов, а за работниками глаз да глаз!

Софья быстро научилась в доме управляться, а уж за детьми смотреть – это было знакомо и привычно. Одного не понимала: зачем летом одевать малышей? Даже в спор вступала с Соломонией, зная и чувствуя, что ребенок, росший без одежды,



не будет ни холода, ни жары бояться.

Мирон с первого дня стал называть хозяев дадэ и дае – отец и мать. За ним взялся повторять и родной сын – Яков, что веселило хозяев: смысленный Яшка перенимал цыганские слова гораздо быстрее, чем Мирошка – русские.

К осени Соломония решила учить Софью грамоте. Достала из сундука старинные книги, велела хорошо вымыть руки... А к Успению отвела ее в церковно- приходскую школу, удивляясь и радуясь тому, с каким любопытством и интересом учится юная цыганка. Раздражало и пугало только то, что она порой принималась предсказывать, что будет завтра, или по весне, или на пасху...

Однажды Софья, встав рано поутру, подошла к заплетавшей косу Соломонии и, прижавшись щекой, с грустью прошептала:

– Матушка... Как не хочу я от тебя уходить!

– Куда уходить? Ты чего это? – встревожилась Соломония.

– Нет, матушка, ты не поняла! Я не ухожу. А потом, когда большая вырасту...

– Зачем же тебе уходить? Тебе разве худо живется?

– А когда Дэвло* так велит... – всхлипнула Софья.

Со скотом Софья управлялась ловко, будто здесь и росла. Лошади бегали за девчонкой, как собаки, а собаки и вовсе признали в ней хозяйку. В особенности она подружилась с той самой рыже- белой Милкой, которая нашла их с Мироном, указала на них хозяину и съела их хлеб.

Теперь Софья сама кормила собаку, и когда та оценилась, никого, кроме девочки, не подпускала, даже самого Гавриила.

Как-то по первому снегу собаки подняли злобный лай, слышались конский топот и удары тяжелого железного кольца в калитку. Хозяин поспешил встречать гостей. С шумом, с



громкими разговорами ввалились в избу красивые, богато одетые мужики, и с ними голубоглазый мальчишка лет двенадцати, в белом полушубке, в бекеше на шелковой подкладке. Соломония улыбалась гостям, быстро орудуя ухватом, доставала из печи горячие кушанья, Софья носила из погреба соленья, с поклоном ставила на стол.

– Кто это у тебя, Гаврила? – спросил один из гостей, кивая на нее, – Из цыган, что ли? В дочки взяли, или в работницы?

– Сирот подобрали, – ответил хозяин, – По лету еще в лесу нашел. А что, может, приживутся... Ну –ка, Софьюшка, похвастайся братишкой!

Софья кликнула Мирона, он примчался вместе с Яковом, оба запыхавшиеся от своих игр, оба чумазые, оба румяные, оба кудрявые, только один белокурый, светлоглазый, а второй смуглый, чернявый, как жук. Гости расхохотались, глядя на деток, вместе с ними и хозяева, а громче всех смеялся мальчишка. Соломония шепнула Софье, украдкой кивнув на него: «Губернатора сынок!»

Кто такой губернатор, Софья не знала, но понимала, что хозяева не зря рады такому гостю.

Потом долго трапезничали, а Соломония и Софья прислуживали компании за столом. Мужики говорили об охоте, о ружьях, лошадях и собаках. Мальчишка скучал, и потихоньку выбравшись из-за стола, играл у печи с котенком. Отец, гладкий белолыцый мужик, угадывавшийся по одинаковому с сыном крутому обреза бровей и похожей усмешке, обернувшись к нему, сказал:

– Ну, поди погуляй, что ли!

– Софьюшка, покажи ему щенят Милкиных, – велел хозяин.

Софья набросила на плечи большой платок с бахромой, рукой поманив за собой мальчика, повела его на конюшню.

Милка взъерошила шерсть на загривке и показала зубы.





На удивление, мальчишка не испугался, подхватил на руки выбежавшего навстречу круглого толстолапого щенка, Софья едва успела цыкнуть на собаку, оберегая гостя. Потом они долго играли с Милкиным потомством, обсуждали достоинства каждого щенка, решали, какого заберет себе Авдей, так мальчик назвался Софье.

Пришел веселый отец, за ним остальные. Начали тормошить и тискать щенков. Милка, привязанная в стороне, изводилась, беспокойно переступая и поскуливая.

Наконец гости взгромоздились на коней. Авдей вскочил на буланую кобылку, склонившись с седла и принимая у Софьи щенка, взял ее за руку, отчего у нее загорелись щеки, поблагодарил и пообещал показать своего Барзана, как подрастет.

– Смотри, Василийч, женится Авдейка на цыганке! – шутили подвыпившие гости, а губернатор весело отвечал:

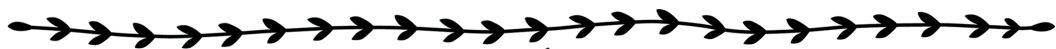
– Сплюнь, пока не приворожила парня черноглазая!

Авдей хмурился и отворачивался, одной рукой подтягивая повод, а другой прижимая к себе пушистого Барзана.

Софья очень любила церковно-приходскую школу, молилась горячо и искренне, вплетая в молитвы цыганские слова. Батюшка, отец Амарфий, в разговоре с Соломонией не раз хвалил девочку за усердие, вспоминая, что поначалу не рад был цыганке – поститься, мол, не приучена, молитв не знает, кем крещена – неведомо. Но девочка сумела понравиться любовью к церковному пению, чистым глубоким голосом, а главное – тихим нравом, покорностью и робостью.

Мирон рос, как на дрожжах. Когда хозяйка доила коров, он крутился рядом, под первые струи молока подставляя свою глиняную кружку. Щеки и подбородок его округлились, голос стал звонким, на ногах стоял крепко, бегал быстро. Яшка, хоть и не уступал ему в росте, не мог угнаться за братишкой.





И Софья подрастала — гибкая и тонкая, как тростинка, легконогая и быстрорукая, длиннокосяя, с нежным румянцем на смуглых щеках и пронзительными черными глазами. Губернатор с сыном, с друзьями-товарищами, приезжал со своей гитарой, играл красивые песни, и каждый раз Софья пела для гостей. К Соломонии первой прибегали звать на праздники — пусть, мол, твоя цыганочка у нас споет-попляшет. И когда Софья пускалась в пляс, восторженных зрителей охватывало хмельное буйство радости, звенели гармони и гитары, все рвались в круг. А тут выскакивал маленький Мирон, за ним Яшка, наученный цыганскому танцу, веселье закручивалось разноцветным вихрем, даже старики со старухами топтались, не сидели на месте.

Но не все в селе любили цыганят.

Однажды у церкви крестьянки стали пенять Соломонии — зачем взяла мол, цыганку? В селе другие сироты есть! Стоявшая рядом дочка одной из них, кругленькая веснушчатая Галина, звонко протянула:

— Зачем нам цыгане? Что от них доброго ждать? Кому они здесь нужны?

Софья вспыхнула, задрожала, беспомощно оглянулась на Соломонию. Та прижала ее к себе одной рукой и, сузив глаза, бросила взгляд на Галину:

— А ты кому нужна? Девятнадцатый пошел, а женихов не видать?

В голос заверещали Галина с матерью, жарко и гневно.

С тех пор пошел в селе разлад из-за цыганки.

Вот стоят у ворот сударушки, разговоры ведут. Проходят Соломония с Софьей — замолкают, изображая слащавые улыбки, здороваются, кивают. И тут же начинается горячее обсуждение недостатков ее семьи. В особенности возмущает то, что Гавриил дружит с господином губернатором, ну, и главная тема



– цыганята.

– Вот увидите, наведет беду цыганка! Видали, как глазищами

– то зыркает? А давеча мимо моей избы шла, платком махнула! Не иначе, пожар наводит!

– Да что ты, не может такого...

– А как же? Чего ж она, зря платком– то машет?

– Вот у Кошкиных козел–то сдох – ее работа, колдовки!

– Что ты, Дарья, Кошкины на другом конце села живут, она и не бывала там!

– Грех, соседка, девчонка трех зим здесь у нас не живет, что, раньше разве скотина не падала?

– Нуу, не знаю, не знаю... – тянет недовольно соседка

– Матушка, – шепчет Софья, не оглядываясь, – они руками на нас машут!

– Да и пусть машут, – отвечает Соломония, – А ты откуда знаешь? Глаза что ли у тебя на затылке?

– Ой! Плюнула нам в след! Ой, и другая! – голос тоненький, дрожащий, плачущий.

– Ничего, дочка! Придем домой с тобой, водички нашепчем, окропимся! Ничего нас не возьмет!

Софья помогала священнику в храме, пела в церковном хоре, подрастая и становясь понемногу все более набожной, однако, легко сочетая религиозный пыл с ворожбой и гаданиями, молитвы – с цыганскими заговорами, которым ее никто не учил, они сами всплывали в памяти в нужном случае.

Как-то на пасхальной седмице вбежала в избу Соломония, радостная, раскрасневшаяся, с порога закричала:

– Софьюшка! Авдейка на именины тебя звать прислал! В город с отцом поедешь!

Софья растеряно остановилась посреди избы, выронив из





рук ухват... Потом бросилась к Соломонии:

– Матушка! Не поеду без тебя, боюсь!

– Ну, ну, Софьюшка, ничего! Понравится! Весело будет!

На Софью надели самую нарядную юбку, синюю в розовых мальвах, с кружевом по подолу, шелковый платок с кистями, туфельки из мягкой кожи с лаковыми бантиками, в косы вплели алые ленты.

Серые кони, запряженные парой, бежали весело и резво. Гавриил сам держал вожжи, а Софья сидела позади на мягкой бархатной подушке. И всю дорогу ее мучило предчувствие несчастья.

Она не раз бывала на деревенских праздниках и в богатых избах, и в не очень богатых. Но в таком роскошном каменном доме на берегу большой реки, была впервые. От сияющих голубых глаз Авдея, красивого, одетого в военный мундир, зеленый с красными обшлагами, от ароматов изысканных кушаний, от музыки, от вида нарядных гостей, от чувства того, что и она не хуже других, тревога сменилась радостью.

Ах, как было весело! Как играли городские музыканты, как пела, как плясала Софья, как любовались ею гости!

Когда она, запыхавшаяся, разругавшаяся, выбежала из пышного зала на лестницу, стуча по мрамору каблуками сапог, ее догнал Авдей:

– Пойдем, Софьюшка, на волю! Барзан по тебе соскучился!

Здоровенный Барзан, прижав уши, размахивая косматым хвостом, подошел на прочных столбообразных ногах и уперся лбом Софье в живот. Девочка, смеясь, отталкивала пса, а он, хакая красной, будто улыбающейся, пастью, прихватывал осторожными подрагивающими зубами ее руки.

Потом они с Авдеем сидели на нагретом весенним солнцем бревнышке под начинавшей выпускать нерешительные зеленые



листочки яблоней, и Софья рассказывала ему о первой встрече с матерью Барзана, Милкой. Притихший юноша смотрел на девочку с такой жалостью и нежностью, что у Софьи тревожно забилося сердце. Пес дремал, положив голову Софье на колени. Но вот он поднял голову и насторожился. По песчаной дорожке к ним со всех ног бежала горничная.

– Авдей Петрович! Вас ищут, зовут! И тебя, Софья!

Софья вскочила, Авдей поднялся неохотно.

– Скажи, иду сейчас, – недовольно произнес он.

Обогнав горничную, Софья бросилась к дому. Барзан тяжелым галопом скакал за ней. В раскрытых дверях она столкнулась с хозяином. Румяный, с красными глазами, в распахнутом сюртуке, в бархатном жилете на шелковой рубаше, застегнутом на одну пуговицу, он, разбросав руки, двинулся на Софью, весело крича:

– А, попалась, черноглазая!

Схватил, прижимая и ища жадным хмельным ртом ее губ. Софья задохнулась, уворачиваясь, отталкивая, а губернатор, хрипло дыша, шаря по ее телу бешеной рукой, уже увлек ее к боковой двери.

Вдруг грубым звериным басом гавкнул с крыльца Барзан. Руки губернатора дрогнули, Софья выскользнула и бросилась вверх по мраморной лестнице. Она дрожала, по горящим щекам катились непрошеные слезы. В зале было по-прежнему шумно, никто не заметил волнения девушки.

По дороге домой Гавриил все спрашивал, не заболела ли, не обидел ли кто... Софья бормотала:

– Нет, батюшка... – и снова умолкала, закусив губу.

– Устала разве? – настаивал Гавриил, и она кивала согласно:

– Устала, батюшка...

Софья находила предлог убежать на конюшню или на задний



двор, едва к дому подъезжала губернаторская компания. Барзан находил ее, она гладила его, обнимала пушистую необъятную шею и иногда тихонько плакала.

Зато губернатор, будто бы нарочно, искал с ней встречи.

Он велел работнику найти и позвать Софью. Она пришла, не глядя никому в глаза, присела на скамью у окошка. Ее уговаривали спеть, губернатор перебирал струны гитары, Соломония сердилась на ее упрямство. Но она только отрицательно качала головой.

В этот раз следом за Барзаном прибежал Авдей. К Софье близко не подошел, хриловатым от волнения голосом спросил:

– Софьюшка! Что ж ты, сердита на меня? Прости!

– Не за что мне прощать тебя... – прошептала Софья, – я не потому...

И, сделав шаг навстречу, положила ладони на плечи парня, всхлипнув, уткнулась лицом в ворот его рубашки. Авдей растерянно гладил ее косы.

В это время в конюшню вошла Соломония. Софья услышала ее торопливые шаги и резкое: «Аахх!» Оглянувшись, отстраняясь от Авдея. Глаза Соломонии наполнились удивлением и гневом.

– Ах ты... ты... Ты что же?!

– Не сердитесь, тетенька! – заговорил Авдей, – она плакала. Обидели ее.

Но Соломония резко повернулась и решительными шагами двинулась к дому. Как побитая собака бежала за ней в смятении Софья.

С той поры разладилось. Не было уже ни веселья, ни песен. Софья боялась поднять на Соломонию глаза, стала совсем молчаливой и тихой. Глядя на сестру, грустили и Мирошка с



Яшкой.

На исповеди она рассказала старому священнику, что гнетет ее. Тот вздыхал и гладил девушку по голове. Однако дал совет не рассказывать ничего дома, что бы не ссорить Гавриила с губернатором.

Лето окончилось. Зарядили дожди. Небо набухло серыми тучами, реки наполнились бурной мутной водой.

Софья все чаще думала о своем таборе, представляя, каково сейчас цыганам в промокших кибитках, потихоньку молилась за них. Тоска владела ее сердцем. Никогда она так часто не вспоминала мать, отца, родных цыган, веселую и горькую таборную жизнь.

К воскресному утру тучи ушли, с небес светило прощальное, особенно яркое и теплое солнышко.

Раным-рано Софья прибежала в церковь. Старенькая попадья, отпирая ворота, ласково спросила:

– Что спозаранку, дочка? Нужно чего?

– Ничего, матушка! Душа болит...

– Ох ты, сиротинушка! — попадья горестно покачала головой и вдруг взглянула настороженно:

– Аль беду какую чуешь?

Софья опустила голову:

– Чую, матушка... Да вы не бойтесь, у вас все хорошо будет! Это меня беда ждет...

Старушка заохала, торопливо отворяя двери храма и подталкивая Софью вперед:

– Иди, детонька, стань на колени, помолись до заутрени! Скоро уж дьяк придет, — она зажигала свечи, тяжело дыша и бормоча молитву, по глубоким морщинам на щеках стекали





слезы.

До начала службы регент собрал певчих на клиросе, давая им последние наставления:

– Не слух услаждайте, но слово молитвы несите пастве! – строго обвел глазами хор, остановил взгляд на Софье:

– Что, не плакала ли? Где страсти, там нет Бога! Голос не сел ли? Смотри мне, а то!

– Господь просвящение мое и Спаситель мой, кого убоюсь? – певуче ответила девушка.

– Не сел, – успокоено произнес регент, – ну, распеваемся!

Софья пела, как никогда, ясным и чистым переливом, устремив взгляд в никуда, проникаясь словами молитвы:

– Тело Христово примите, Источника Бессмертного вкусите!

После службы регент подошел к ней:

– Спаси Христос, Софьюшка! Ублажила. Губернатор про тебя даже спрашивал. Да ты чего испугалась–то, птица певчая?

Изю всех сил старалась она незаметно проскользнуть мимо губернатора, стоящего в притворе вместе с дородной румяной супругой и старым настоятелем, о чем-то увлеченно разговаривающими.

За дверями храма стояли Галина с матерью. Обе в упор уставились на Софью, и ее сердце забилося такой тревогой, болью и тоской, как в детстве, когда ее последний кусок хлеба съела чужая собака...

Она поспешила смешаться с толпой прихожан на церковном дворе. За спиной услышала настойчивые женские голоса:

– Господин губернатор! Господин губернатор! Извольте выслушать просьбу нижайшую!

Дрожь пронзила и приковала к земле как копьем! Софья не



оглядывалась, но, как обычно, видела не глядя: мать Галины, бормоча что-то, цепляется за рукав губернатора, он смотрит на нее неприязненно, его жена брезгливо выпячивает нижнюю губу.

Вокруг разговаривали, смеялись и печалились прихожане, но голоса Галины и ее матери для Софы словно звучали отдельно от всех:

– Господин губернатор! Избавьте от цыган, от воров, от колдовок, отец родной!

– Чего-чего? — губернатор насторожился, его жена недоуменно пожала плечами в пышных буфах голубого шелка.

– Цыгане по городу бродят! — визгливо, перебивая друг друга, кричали ему в лицо женщины, — На реке, на излучке табор стоит!

– Вот оно что-о... — губернатор оглянулся на жену. — Как же мне не доложили?

Супруга снова пожала плечами.

Боль и слезы ключом закипели в душе Софьюшки, грозный колокол забился в висках: Бумм! Бумм! Бумм!

Она бросилась к Соломонии, выходявшей вместе с супругом из ворот храма, срывающимся голосом стала просить, готовая упасть на колени:

– Отпусти, матушка, к цыганам! Вдруг там родня моя?

– Это зачем? — строго спросила Соломония — Убежать хочешь?

Гавриил вступился:

– Пусть погуляет! Она цыганка, ей воля дороже хлеба, — обернулся к Софье:

– Ты не убежишь, дочка? Домой вернешься?

– Вернусь, батюшка. Неужто вас и братьев брошу?

На самой излучине, где река поворачивает на восход, окружая шатры и кибитки полукругом, среди ивовых кустов,





кипела цыганская жизнь. У Софьи колотилось сердце. Она издали, не узнав еще никого, поняла, что это ее табор.

Ее окружили девушки, стали спрашивать, чья и откуда.

– Ваша я! – сквозь хлынувшие слезы торопливо говорила Софья, – Кондрата Бурды дочка!

Весь табор, от мала до велика, столпился вокруг нее, горячо обсуждая неслыханную новость. Ее усадили на свернутую попону у костра, шумно перебивая друг друга, расспрашивали о том, как умерла Лауна, где братишка, как нашла она новую семью, как живут теперь. Софья сбивчиво, сквозь радостные и горестные слезы, рассказывала о своей жизни. Ее угощали, чем могли, рассказывали, кто вышел замуж, кто женился, а кто уже умер, показывали народившихся за эти несколько лет племянников, двоюродных сестренек и братишек. До самой ночи сидела Софья у костра, а потом полтабора пошли провожать ее домой.

Соломония не спала, поджидала Софью у калитки. Цыгане окружили ее, стали благодарить и кланяться в пояс. Она подтолкнула Софью в дом, а потом, обернувшись с крыльца, строго сказала провожатым:

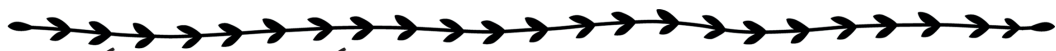
– Не сманивайте девчонку, ромалэ. Не ваша она теперь.

С утра таборная жизнь замирала: мужчины и ребята уходили на заработки – лудить котлы и кастрюли, точить топоры, ковать коней. Женщины с детьми отправлялись гадать и просить хлеба. У кибиток оставались старики да хворые.

При любом удобном случае Софья убегала в табор, мальчишки – Мирон и Яков – за ней. А Гавриил и сам любил посидеть вечером у костра, послушать цыганские песни.

Соломония не находила себе места. Она все ждала приезда





губернатора, что бы упросить его прогнать цыган подальше. В окошко горницы увидела приближающихся гостей, закричала работнику, чтобы бежал в табор за хозяином, выбежала, отворила ворота, кланяясь и улыбаясь.

– Что давно не были, Петр Васильич?

– Дожди поливали! Дома теплее! Мы уж и печи топили!

Губернатор вошел вместе со своими егерями, неся короб с гостинцами, как всегда, шумный, веселый, громкоголосый.

Услышав о цыганах, удивился — как же ему не доложили!

– А ну-ка, я туда съезжу!

– Вдоль реки, Петр Васильич, по узкой дорожке! Прямо к ним и приедете. Да я уж работника послала!

Старуха-цыганка в черном платке, сморщенная, сгорбленная, похожая на ведьму подковыляла к Гавриилу, сказала неожиданно молодым голосом:

– Человек ты добрый, а горе нам принесешь! Уезжать от тебя нужно! Традэс! Традэс!

Молодой цыган встал между ними:

– Не слушай, дяденька, старая она, из ума выжила!

Солнце понемногу ползло к горизонту.

Вернувшиеся в табор цыгане разложили веселый костер, приладили треногу. Пока уставшие чаялэ* умывались на берегу, Софья взяла ведро и побежала к реке, выше лодынэ. Не сразу выбрала удобный подход, пологое место, вошла по колено, не придерживая подол юбки. Текущая вода завораживала. Если смотреть долго и пристально, можно увидеть очень многое – она это знала с детства. Закручивались и исчезали, растворяясь, маленькие воронки-водовороты. Когда-то, будучи совсем маленькой, она увидела в таком водовороте красную ленту, привязанную к ветке плакучей березы. Ленту эту, безжалостно



терзаемую ветром над одинокой нищей могилой ее матери, она долгие годы видела потом во сне...

Софья разглядела длинную полосу дороги под нависшими черными тучами. Видение исчезло вместе с воронкой, и тут же возникло другое: вдруг искривившаяся, падающая, поглощаемая водой кибитка. Предчувствие беды наполнило душу. Софья еще долго смотрела в резвые струи, потом зачерпнула ведром и выбралась на берег. Тревожные слезы, еще не вырвавшись наружу, бурлили в сердце, как речная быстрая вода. Прошла по тропинке между густыми кустами ивы несколько шагов и едва не выронила ведро: навстречу шел губернатор. Улыбаясь, преградил ей дорогу:

– Что ты, красавица моя, все сторонись меня, все убегаешь? Погляди-ка, что я тебе принес!

В его руке блеснуло серебром ожерелье с янтарными и гранатовыми камешками, такое красивое, что Софья не могла оторвать глаз. Однако едва его рука коснулась ее головы, что бы надеть украшение, девушка испуганно отшатнулась. Ведро в ее руке, наткнувшись на торчащую над землей кривую ветку ивы, опрокинулось и вылилось на ноги губернатора, прямо в его щегольские сапожки.

– Ах, Софьюшка, что ж ты! – воскликнул он с досадой.

– Простите, простите, Петр Васильич! – срывающимся голосом проговорила Софья, повернулась и бросилась бежать, уронив ведро, но жесткая рука настигла ее. Схватив за плечо, губернатор развернул ее к себе, и, с изменившимся лицом, ставшим вдруг жестоким и злобным, склонившись над ней, как коршун над добычей, грозно проревел:

– Никуда тебе от меня не деться! Моя будешь, цыганка! Будешь! Будешь!

Софья заплакала в голос. Губернатор пытался зажать ей рот, а она уворачивалась.



Конский топот послышался совсем рядом. Но мужчина и не подумал отпустить Софью, решив, что это скачет кто-то из цыган. Когда он увидел Авдея на Буланке и понял, что сын все слышал, оттолкнул девушку и потрясенно схватился рукой за горло. Софья, рыдая, упала на песок. Авдей, с пылающими щеками, с яростным огнем в глазах, с седла замахнулся на отца хлыстом, но в последний момент сдержался, дрожащей от бешеного напряжения рукой сунул хлыст за голенище, спрыгнул с седла, и, закусив губу, сделал шаг к отцу. Тот несколько секунд глядел на сына, потом повернулся и зашагал прочь. Его конь был привязан на пригорке в кустах. В гневе вскочил он в седло, едва не стоптав выбежавшего на дорогу цыганенка, подскочил к костру и закричал во всю мощь своего зычного голоса:

– Вон! Вон с моей земли, грязные попрошайки! Вон, воры! Вон, колдовки! Вон! Вон!

От костра поднялся потрясенный Гавриил:

– Что ты! Что ты, Петр Васильич! Что тебе взбрело! Это мирные люди!

Но губернатор, разворачивая коня, хлестнул его так, что он взвился свечкой и умчал хозяина прочь.

Софья подошла к Гавриилу, утирая слезы:

– Позволь, батюшка, до света в таборе остаться. Не увижу уж больше родню свою.

Гавриил осипшим от волнения голосом сказал:

– Останься, дочка. Вижу, душа у тебя плачет...

Темнело. Подходя к дому, егерь увидел ковыляющего к нему старого священника.

– Я до вас, Гавриил Еремеич, – дребезжащим голосом сказал поп, – Авдей Петрович, крестник мой, сейчас исповедовались... Чего не нужно, не расскажу, а поговорить надобно. Я за Авдейку перед Богом ответственен. Худо у него. Да и ваша цыганочка в обиде и смятении...





Недолго шумел табор. Старый бородатый цыган с серебряной серьгой в ухе сказал:

– А и верно, ромалэ, погостили на этой земле – и будет! Пора! Утром в дорогу!

К утру река поднялась, сначала почти незаметно, потом все решительнее и быстрее стала окружать полуостров излучины. Второпях, еще в полутьме цыгане собирали одеяла и попоны, складывали палатки, запрягали коней. Река нашла себе протоку перед кибитками, и лошадей выводили на сухое уже по колено в воде. Лодыжэ превратилось в остров. Когда последняя кибитка со стариком ступила в протоку, что-то разладилось в наспех устроенной упряжи. Дедушка вошел в прибывающую воду, пытаясь справиться с неполадками. Молодые цыгане бросились, было, на помощь, но мутная серо-желтая вода уже пошла валом, быстро отвоевая землю у островка, неся, как щепки, вывороченные с корнем деревья, швыряя и наталкивая их на застрявшую в воде кибитку. Гнедой тревожно заржал, на берегу отзывались другие лошади. Старик, поняв, что может погибнуть конь, большим кованым ножом перерубил постромки. Конь поплыл по протоке и ниже по течению выбрался на берег, где его тут же поймали под уздцы расторопные парни.

А старик отступил на островок, с каждой минутой становившийся все меньше, с покорным отчаянием наблюдая, как вода рушит и сносит его кибитку, и не ожидая уже спасения.

На берегу молились и кричали цыганки, дети заливались плачем, мужчины метались по берегу, некоторые рисковали войти в бурлящую воду, но, понимая тщетность своих попыток, отступали назад.

Когда, в слезах, в горе и ужасе, все уже поверили в неизбежность гибели старика, выше по течению показалась лодка. В ней сидел молодой незнакомец, упорно и отчаянно



работавший веслами. Цыгане напряженно притихли, слышны были только слова молитв. Вот лодка причалила к ставшему совсем крошечным островку, старик поймал рукой ее борт, тяжело перевалился через него, и крик восторга с берега вспорол тяжелый воздух тревоги и грядущей беды. Лодку несло течением, но молодой сильный гребец умело направлял ее к берегу, по которому бежали цыгане. Вот уже на берегу все обнимают дедушку, прыгают счастливые ребяташки, у цыганок сквозь улыбки текут слезы облегчения. А Софья, плача и смеясь, целует спасителя:

– Авдеюшко! Авдеюшко, любимый мой!

*Шувани — ясновидящая, колдунья.

*Индарака — цыганская юбка (цыг.)

* «А что в ямку постелем?» – цыгане купали детей в ямке в земле, , выстилая ее куском конской кожи, соломой и листьями лопуха.

*Лодынэ (цыг) — место стоянки табора

*Маро! Маро! Дэ маро! (цыг.) – Хлеб! Хлеб! Дай хлеба!

* Дэкхло (дэкло) — цыганский платок.

*Дае, лэ ман! (цыг.) – Мама, возьми меня!

*Дэвло (цыг) – Бог

*Чаялэ (цыг) – девушки



ИВАНОВА ЯНА БОРИСОВНА

Хозяева тайги

Шёл второй месяц лета. Я только что получила диплом режиссёра документального кино и готовилась отправиться со своим мастером снимать фильм о путешествии в 1890 году Антона Чехова на Сахалин, проделанной им переписи ссыльного населения, а также нравах коренных жителей острова и некоторых местных традициях. Словом, об одном историческом событии, произошедшем на фоне колоритных природных и культурных ландшафтов.

Как это часто бывает, финансирование в последний момент придержали, и экспедиция была отложена на неопределённый срок.

— Если у Вас нет других дел, Яна, поезжайте всё равно. Билеты оплачены, командировочные дам. Изучите местность, заснимете локации, отдохнёте, в конце концов. Да и когда ещё в голову придёт мысль просто так посетить Дальний Восток? — сказал мастер.

Остальные члены съёмочной группы предпочли не ехать без конкретной цели на другой конец страны: они, в отличие от меня, были сложившимися профессионалами и имели другие проекты, над которыми надо было работать.

В моём распоряжении было 30 дней, и первую неделю я потратила, разъезжая по южной и центральной частям острова, посещая чеховские места, общаясь с научными сотрудниками



областных музеев. Природа вокруг была сдержанной, величественной и драматичной.

В начале августа я отправилась в Трамбаус — маленькую деревню, в которой, как мне рассказывали, обитали нивхи. Оказавшись на месте, я узнала об одной семье, которая жила несколько обособленно ото всех на самом берегу Татарского пролива. Моё воображение уже рисовало их диковинный быт и киногеничные обычаи.

Люди, о которых идёт речь, занимали небольшой деревянный дом, находившийся километрах в трёх от Трамбауса на покрытой багульником поляне. На их заднем дворе росли ели и пихты, обозначавшие границу леса.

Всех троих я застала на крыльце. Мужчина лет шестидесяти чистил рыбу, женщина примерно такого же возраста мыла её в большом тазу и резала тонкими пластинами, а шестилетняя девчушка насаживала заготовки на острые прутья, которые затем размещала на специальную конструкцию для сушки. Во дворе бордовыми флагами уже висели десятки ароматных вязанок.

Нивхи показались мне приветливыми. Я успела только назвать своё имя, а Вантан (так звали мужчину) уже рассказывал мне про утренний поход за горбушей, а его жена Чамук протягивала на пробу длинную полоску твёрдой юколы. Мне было вкусно, приятно и интересно. Знать и говорить хотелось больше.

— А что в наших краях? — спросила, наконец, Чамук.

Я рассказала о съёмках, Чехове, своём самостоятельном исследовании и интересе к культуре нивхов. Мои собеседники переглянулись.

— Вот как? — сдержанно сказал Вантан, постоял секунду в задумчивости и вошёл в дом.

— Пора за работу, — нервно заметила Чамук и тоже хотела развернуться.

— Постойте. Могу я поставить поблизости палатку? Возле



того камня, например? — я указала на валун, видневшийся метрах в ста от участка.

— Это не наша территория, а хозяина тайги. Остаться имеете право там, где хочется. Только без кино, — с этими словами Чамук взяла таз и пошла к воде.

В институте нам часто говорили о том, что действительно правдивое глубокое кинонаблюдение получается тогда, когда герои привыкают к камере и съёмочной группе, перестают обращать внимание на то, что за ними следят. Для этого им необходимо мозолить глаза, и тогда, возможно (это отнюдь не универсальный рецепт), от раздражения они перейдут к безразличию. Лёжа в палатке, я думала о том, что не хочу испытывать эту методику на Вантане, Чамук и Оле. Я не знала, в чём причина их нелюбви к камере, но решила для себя, что ближайшие три недели посвящу налаживанию наших отношений. По какой-то причине мне во что бы то ни стало хотелось возобновить начатую непринуждённую беседу, пусть даже в ущерб целому эпизоду.

Поначалу мои дни были однообразны, но шли отчего-то быстро. Время от времени я ходила в Трамбаус за нехитрыми продуктами, но в основном гуляла неподалёку от дома нивхов, снимала перебивки (они всегда пригодятся), читала на своём валуне «Остров Сахалин» и украдкой наблюдала за семьёй.

Каждое утро без исключений Вантан плавал на лодке в пролив. Пока его не было, Чамук с Олей занимались хозяйственными делами или ходили за ягодами, а иногда бывали в селе у сестры Чамук. Около полудня все собирались за столом, обедали, а после принимались за рыбу. Что-то развешивалось во дворе, что-то солилось, что-то тут же отправлялось на кухню, а что-то в свежем виде заворачивалось в срезанную траву. Последнее делалось не ежедневно, а строго по понедельникам, средам и пятницам: в эти дни к нивхам приезжал человек из Александровска-Сахалинского



и за не очень большие деньги покупал свежую рыбу и заготовки. Впрочем, время от времени он привозил им кое-какие продукты. Видимо, такая была договорённость. В магазин Трамбауса они при мне не ходили ни разу.

Сначала мы просто здоровалась по утрам, затем я начала заводить короткие «соседские» беседы. Вантан оставался холоден, а вот Чамук становилась улыбчивей. Я даже взялась иногда помогать ей в огороде. Пока мы возились с землёй, хозяйка много рассказывала мне о дочери, которая работает в Южно-Сахалинске и там же снимает квартиру, и о своих родителях. Последние всю жизнь провели в Охе, говорили между собой по-нивхски (Чамук теперь помнила только отдельные фразы) и даже отмечали медвежий праздник (это, впрочем, было ещё в их детстве). После мы перекусывали лепёшками с рыбной начинкой, и я уходила: было ясно, что Вантан не готов к моей компании.

В день, когда всё изменилось, Чамук с внучкой были у сестры, а Вантан, как всегда, на рыбалке. Непогодилось ещё с утра, но в какой-то момент подул настолько свирепый холодный ветер, что на воде мгновенно образовались волны. Дождя не было, но небо так плотно затянуло тучами, что казалось, будто уже глубокий вечер.

Я не сразу заметила Вантана: он оказался у берега намного дальше своего обычного места швартовки. Каждый раз, когда он, с силой налегая на вёсла, приближался к суше, его рывком отбрасывало назад. Стоит сказать, что глубина в этом месте нарастала резко, и встать ногами на дно, чтобы вручную дотащить лодку, было невозможно. Я побежала к нивху, крича на ходу, привлекая его внимание. Он увидел меня и тут же бросил верёвку. Я схватилась за неё и принялась тянуть, стараясь делать так, чтобы мои движения совпадали с движениями волн. Ноги скользили на гладких камнях, но уже через минуту Вантан оказался на берегу, и мы вместе втащили лодку на берег.



Привязав её к дереву и забрав всю рыбу, мы поспешили в дом. Только теперь я поняла, что частый косой дождь давно хлестал по лицу. Когда мы раскладывали улов, в дом вошли промокшие Чамук и Оля.

— Ну, погода! — выдохнула хозяйка и через секунду заметила меня.

— Теперь и за стол можно, заслужили, — улыбнулся Вантан, грубовато хлопнув меня по плечу. Чамук расцвела.

Пока она хлопотала у плиты (всё было готово, оставалось только разогреть), Вантан вскипятил чайник, заварил Оле сушёные ягоды, и вытащил из шкафа три стопки.

— Настойка из водяники, — пояснил он, наливая в них мутную жидкость из безымянной бутылки. Напиток оказался обжигающим.

Сперва мы ели путь (рыбный бульон с морской капустой), затем — е огр (варёные внутренности кеты с черемшой), а на десерт — мос (сладкий студень из жира нерпы, отвара на основе кожи горбуши и ягод).

За окном по-прежнему было темно и промозгло. Вантан убрал тарелки и взялся плести туес. Оля клевала носом, и Чамук перенесла её в стоявшую в углу кровать. Сев на стул у изголовья, она принялась тихим голосом рассказывать внучке об утке, которая плавала по воде, хотела снести яйцо, но не нашла суши и из собственных перьев свила гнездо. Через некоторое время у неё вылупились птенцы. Они выросли и тоже сделали себе гнёзда, и так продолжалось много лет. На воде качались тысячи чирочьих гнёзд, которые затем соединились в остров. На суше появились трава, кусты и деревья, включая лиственницу. По её коре медленно стекала смола, и в тот момент, когда первая золотая капля коснулась почвы, родился нивх. Всё это виделось мне живо и красочно, как всегда бывает, когда человек засыпает под чью-то историю.



Я проснулась на широкой скамье, прикрытая вязаной шалью. Чамук готовила ужин, Вантан смахивал со стола обрезки берёсты. Я смутилась, начала благодарить хозяев за обед и хотела было уйти в палатку, на что Вантан сказал, что никуда я больше не пойду и буду жить у них до самого отъезда.

Оставшиеся пять дней были прекрасны. Мы ходили за костяником, собирали медвежий лук на влажных лугах, ежедневно делали юколу, а один раз я даже плавала с Вантаном на рыбалку. В тот день нивх накормил духов воды муви (мятой брусникой с отварной рыбой), что по древним поверьям должно было принести хороший улов. Тогда же он рассказал мне о съёмочной группе с московского канала, которая несколько лет назад приезжала к ним с Чамук делать сюжет. Нивхи были рады поведать на камеру о своих традициях и образе жизни и с нетерпением ждали день, когда репортаж выйдет в эфир. Поскольку телевизора у них не было, они отправились смотреть сюжет к сестре Чамук. Корреспондент вещал о том, что нивхи как народ почти вымерли, их язык потерян, а люди на экране (Чамук и Вантан) — считай, последние представители рода. Моим друзьям было горько и обидно — совсем не о том они разговаривали с лицемерным режиссёром, вырвавшим из контекста отдельные фразы и превратившим очерк о самобытной культуре дальневосточного человека в теленекролог.

Это был мой последний день: после обеда я должна была уехать с мужчиной, который покупал рыбу, в Александровск-Сахалинский, а оттуда — на автобусе в Южно-Сахалинск (самолёт вылетал рано утром). За столом, немного помявшись, Вантан спросил меня, не могу ли я сфотографировать их «на аппарат». Я достала планшет, объясняя, что камера снимки не делает, но картинка и тут будет хорошей. Нивхи надели рубашки с вышивкой, мы вышли к дому, и я посадила их на скамью. Кадр получился удачным. В ожидании машины я сделала ещё несколько снимков.



Когда приехал человек и рыбу загрузили в машину, Вантан попросил меня «объяснить Игорю, куда нажать, чтобы мы все были на карточке». Я разулыбалась.

С собой мне завернули юколу и сушёные ягоды. Мы крепко обнялись и расцеловались, прощаться было тяжело. Спустя три часа я уже ждала свои снимки в фотосалоне.

— Дисконтная карта, рамка для фото, съёмный объектив на гаджет? — предложил продавец, пока принтер печатал изображения.

— Давайте одну рамку, — ответила я. Расплатившись, я тут же вставила в окантовку семейный портрет нивхов на фоне дома.

Выйдя из ателье, я отдала фотографии кутившему Игорю. Он пообещал доставить мою посылку через день, в среду. Поблагодарив его, я отправилась на автовокзал.

На Сахалин я вернулась два года спустя: деньги на фильм всё-таки дали. Впрочем, в сценарии больше не было эпизода о нивхах: экранное время не позволяло. По окончании съёмок я, конечно, поехала в Трамбаус. Дом на берегу Татарского пролива чуть осел, багульник рос ещё гуще. Во дворе, как и раньше, раскачивалась сушёная рыба. Хозяева жили теперь вдвоём: Оля ходила во второй класс в Южно-Сахалинске. Вантан и Чамук обрадовались мне, но будто ничуть не удивились: думаю, по какой-то причине они были уверены, что я вернусь. Мы прошли в дом, сели за стол. Я огляделась. Каждая вещь была на своём месте, ничего не изменилось. Только на стене рядом с охотничьими трофеями появилось две рамки с фотографиями. Первой была та, которую я отправила с Игорем в день своего отъезда, а вторую явно сделали вручную. В это грубоватое паспарту без стекла был вставлен снимок, с которого весело смотрели Вантан, Чамук, Оля и я.



КАПУСТИНА ЕВФРОСИНИЯ ИГОРЕВНА

Лесная дева

(Из цикла «Сны Севера»)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Что видит долгими зимними ночами суровый русский Север? Как люди спят на мягкой траве, так и он спит на зелёном покрывале тайги. Укрывается одеялом метелей, вышитым звёздами. Жена Сибирь ворочается под боком. Днём она носит кокошник из Уральских гор, украшенный лазуритами. Дарит ей Север цветы, выточенные из изумрудного малахита. Многими богатствами владеет он. За всем догляд нужен. А по ночам отдыхает от забот. Только цветные, сияющие в тёмно-синем промёрзшем небе сполохи режут иногда стариковские глаза. Вот и не спится. О чём он думает в эти часы? Много перевидал Север на своём пути. Есть что вспомнить. Как будто в зыбком полусне видит он краткие, пронизанные морозом северные сны.

* * *

Щеман сидел в старом охотничьем домике. Вокруг на несколько десятков километров разлеглась глухая тайга. Вот ведь незадача: пошли с соседом Миколой в лес — уговорил его старик на медведя по старой памяти. Долго упрашивал доброго, но тяжёлого на подъем товарища. Всё бы хорошо, и погода отменная. Да ногу подвернул. И глупо-то как — на корягу заснеженную налетел на ровном месте. Видно совсем уже стар да слеп стал.



Покряхтывая, попытался идти, поддерживаемый спутником, только плохо получалось. Лыжи друг за друга зацепляются, обоим идти мешают. А без лыж и вовсе невыносимо — снега едва не по самые подмышки. Поняли, что вдвоём не добраться до дому и сговорились разойтись. Вот и ушёл Микола за помощью и санями в Тарко-Сале, а Щеман остался в охотничьем домике с припасами и оружием.

— Давай, старик, держись тут. Огонь разведи, не замёрзни главное. Поешь тут. Я быстро. С рассветом-то уж наверняка вернусь.

— Бывай, дружище.

Проводил взглядом торопливо удалявшуюся фигуру товарища и, похрамывая, вернулся в помещение. Покряхтывая и охая, развёл огонь в печурке. Сел рядом, позволяя боли утихнуть, и засмотрелся на языки пламени.

Щеман, или Степан, как называли его на русский манер друзья и знакомые. Сам он по национальности был манси, из фратрии Пор — потомков аборигенов-уральцев. Давний и закоренелый охотник. Егерь по-сибирски. За седьмой десяток перевалило ему. Теперь одноплеменники уважительно обращались к нему Щеман ики, что означает «старик». Иногда и русские соседи шутили спрашивали: «Ну, что, Степан ики, за месяц всего восемь медведей завалил? Стареешь, брат». Щеман отшучивался, не обижался. Раньше он месяцами пропадал в тайге, порой возвращался домой с двумя дюжинами медвежьих шкур. А в последнее время тяжело ему стало. То голова закружится, то сердце заколотится бешено, как после бега. Поостерёгся в одиночку идти в лес, а дома сидеть тошно в самый разгар охоты. Вот и сманил соседа. Не зря видать боялся. Вот она и беда.

«Ладно, чего там горевать», — думает Щеман. — «Я своё отходил, теперь другим в лесу место, а мне на печь пора — кости старые греть».





Молодость вспомнилась что-то. Мис-нэ — лесная дева, по мансийским поверьям приносит удачу охотнику, если выйдет за него замуж. Мис — добрый лесной дух. Вспомнил старик, как молодым ещё парнем зарекался перед друзьями, что найдёт лесную деву и женится только на ней. Пацанам смешно было, взрослые надеялись, что с возрастом дурь из головы выйдет, а девчонки-ровесницы обижались. Ещё бы, где им до нарисованной в мечтах лесной девы. Даже не смотрит гордый молодой охотник в их сторону.

Нашёл. Никто не знал этого. Он нашёл лесную деву. Как-то раз уже возмужавший Щеман наткнулся на охоте, как раз-таки неподалёку от этого самого охотничьего домика, на парнишку с ружьём. Слово за слово, разговорились. В результате выяснилось, что зовут юного охотника Катей. Косичка, выпавшая из-под шапки, подвела. Сам не свой от радости, Щеман тут же объявил остолбеневшей девушке, что женится только на ней. Она помолчала, посмотрела на него пронизывающим, внимательным «лесным» взглядом и...согласилась.

Поженились в чужом для обоих Тарко-Сале. Нельзя было иначе. Мансийским мужчинам из фратрии Пор можно жениться только на женщинах из фратрии Мось и ни на ком другом. А для Кати было неважно — где и как быть и жить, только бы рядом с любимым. Бабушка — единственный родной человек, недавно умерла. Некому было помешать её счастью с полюбившимся Щеманом. А он сказал родным, что едет на заработки и уехал с молодой женой в глухой Тарко-Сале. Два сына родились да дочка-красавица. Хорошо жили. И как состарились, всё продолжали вспоминать ту первую встречу в лесу, решившую их судьбу. Детей вырастили, отправили учиться в далёкие города. Там у них и свои семьи завелись.

А влюблённые по-прежнему друг в друга без памяти старики зажили, как будто снова после женитьбы — одни и друг



для друга. И к смерти понемногу готовились. Что ж, пора ведь всем придёт. Катерина Петровна, Катенька, как звал её муж, умерла два года назад. Дети приехали, похоронили. Утешали отца, а он спокойно смотрел на её портрет и что-то шептал. Нет, не в безумстве. Просто разговаривал с женой, как с живой. Знал, что ненадолго расстанутся они.

По поверьям манси — у мужчин имеется пять душ. Из них одна должна уйти в ребёнка, другая — в царство Куль-Отыра. Щеман считал вполголоса:

— Две души в сыновей, одна в дочь — итого три. Одна из оставшихся в царство, а другая?

Долго размышлял над этим старик. Потом подумал:

— А может, она вместе с Катенькой ушла? То-то я ослабевший. Все души распределены, мне ничего не осталось. Да и зачем. К ней бы уж скорей, слепой весь, больной. Куда уж мне.

И задремал. Да так спокойно и крепко. И кости не болят и не ноют. Разбудил стук ботинок и крик Миколы:

— Жив, Степан ики? Приехали!

С другим соседом погрузили притихшего деда на сани. Привезли домой, хотели сразу в больницу. Он отказался, ни за что не соглашался ехать, отпирался изо всех сил. Сказал «на следующий день можно». Остался ночевать дома. Утром пришли — не проснулся дед. Не осталось души. Уснул навсегда.

Только в лесу после того следы видели. Женские. Ждёт новая лесная дева достойного охотника. И просто своё счастье. Тоже, небось, невесело ей в одиночку по дремучей тайге шарахаться.



ЧЕРНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Река и её берега

1.

В смелом одиночестве, примкнув к сухому дубу, стояла юрта старика Хархута. Волны диких земель окружали её — ещё жёлтые прошлогодней травой, ещё обожжённые пятнами рыхлого снега. Бледно-голубой купол небес разламывался грозами первых дождей. Гудел огонь, поглощая корни, лизал высушенные крылья орлов и клювы кочетов. Огонь грел кости старика Хархута. Он румянил дряблую кожу, вплетал дым в седину волос — раскосые глаза слезились старостью.

Целые народы были подвластны Хархуту. Великие ханы просили его совета. Духи огня и воды, ветра и песка были покорны воле старца. Все шаманы считали его своим дедом. Весь мир считал его своим дедом. Так стар был он. Так мудр был он. Он родился давным-давно средь людей, что звали себя Детьми Полыни. Да и родился ли? Кто помнит своё рождение? А время устроено так — чем дольше живёшь, тем бледнее память о детстве, будто тает оно, и уже уверенным быть нельзя: а было ли детство? Чем дольше живёшь... Был Хархут юн, а тех, кто видел его рождение, смарала старость, сырая земля покрыла их прах... и детей их, и внуков. Да и где теперь Народ Полыни?.. Да, многое видел Хархут в своей жизни. Он бывал на востоке, когда кости великанов превратились там в горы. Он бывал на юге, когда



упавшие с небес джины сожгли дыханием земли, превратив их в пески. Раньше весь мир был — Мать Степь. А теперь: горы и реки, леса и моря... Всё меньше её — колыбели народов. Вот и здесь протянулась уже река, будто длинная крепкая длань с голубым рукавом легла в первозданную степь. И людей становилось всё меньше — в новые, юные земли уходили они.

Теперь Хархут был один — давным-давно одиночество стало ему по душе. И время... Время сильнее бури, оно гнёт и гнёт деревья, пока те не рухнут трухой. Богатырская сила ушла давно по тропе лунного света. Кости стали хрупки, мышцы — слабы. В ноги закрался холод, в голову — ленивая пустота. И стали приходить сны.

Хархут мучился этими снами. Он потерял покой.

Сон первый был, когда Луна вставала ярким шаром, а Звезда Пастухов колола в бок Змею. Хархут сомкнул глаза, и тут же бездна разверзлась у его ног. Он падал: в ушах гудела скорость, свистел безумно воздух в воронке бесконечной пропасти. Он ничего не видел, точно слепой, но чувствовал: в конечностях пульсировала кровь — необычайно сильно; все мышцы приятно расслаблены. Но тут какой-то звук — будто скрип ржавых петель... И вдруг птичий крик — неприятный, страшный. Крик птицы, что водится лишь в глубинах провидческих снов.

Хархут проснулся на мокром от пота ложе. Его бил озноб. Он протянул руки к остывшим углям очага.

Испокон веков знал Хархут имена звёзд и духов, что прилетают с них. Он видел сквозь тени времён судьбы народов. Он знал всё. Но смысл страшного сна, смысл крика, разорвавшего тьму, он не мог понять.

Проходили дни, как караваны туч на небе. Зажигалось и гасло солнце, скрываясь в холмах. Вот Луна уже всходила серпом. Хархут ложился спать, но странные сны не давали ему покоя. Он засыпал и видел: чёрная земля, расчерченная



огромными трещинами; светящееся фиолетовым блеском небо. Мир плоский, точно нарисованный прутом на песке. И на границе земли и неба единственное не плоское: маленькие человечки — пляшущие деревянные куклы, такие же чёрные, как мир вокруг. Танец маленьких кукол — нескладное дёрганье крошечных ручек и ножек.

Хархут просыпался, и в голове была боль. Боль от мыслей, что копошились, как мыши в норах.

«Зачем эти сны? — спрашивал он холодную ночь. — Зачем они приходят ко мне незваными гостями, зачем наводят страх? Никто не звал их сюда. Нет для них в юрте места. Разве я заслужил мученье в стране Грёз? Зачем они тревожат мой покой после стольких веков моей славы?»

Но что могут слова, обращённые в никуда?

Лишь засыпал Хархут — перед взором всё тот же непонятный мир.

Время шло. Никакие мольбы, никакие преграды не могли остановить его ход. Старик страдал. Глаза его впали, руки стали дрожать. Время не приносило отрады. Что ни ночь — то сон.

А во сне — деревянные человечки. Но танцев теперь нет. Теперь другое: вот они стоят у чёрно-угольных холмов. Стоят в тишине. И тут сгибаются разом. Хархут видит: они копают. Комья земли взлетают поверх безликих голов. Старик просыпается. Во рту сухо. Болит голова. Он пьёт холодную воду, черпая её иссушёнными ладонями. Брызгает ею в лицо, лишь бы не засыпать. Но разве можно не спать? Даже былой богатырь не может без сна. Усталость подламывает ноги.

И каждую ночь один и тот же сон — люди, копающие яму. Ни заговорить от них жестокое ложе, ни бросить в огонь сноборческих трав. Всё без пользы.

Хархут скликал духов, сзывал их со всех концов Земли. Быть может, сидя по тёмным углам, летая среди звезд, они слышали,



знают, отчего те сны и как их унять. Но духи не шли на зов. Хархут распалялся гневом. Бывает ли, чтоб рабы не шли на зов властелина? Сердце билось часто и громко, как молот в кузне. Глаза горели злобой. Он сеял песок, кормил огонь перьями птиц... Но и тогда духи оставались безмолвны.

Вены вздувались на шее старца от неслыханной дерзости живых теней. А его глаза? Вместе со злобой в них был страх...

Уже много лун сменилось на небе. Звезда Пастухов колола Тельца, а с того дня, как птичий крик вторгся в сон, не было и нет разгадки, лишь всё больше тоски да тревоги. Никогда раньше Хархут не испытывал страха. Первый раз за сотни лет это чувство тронуло сердце. Не испытывал он страха, сражаясь с грозным Корчаком. И когда чудовищный великан Депегёз стоял против него в бою, не было этого. Когда пчёлоподобные духи с тёмной стороны Луны свалились на Землю, неся с собой мор, он изрубил их кнутом без этого чувства. Ещё много было такого, что любой человек омертвел бы от ужаса. Всего не перечесать. Но страха... Страх Хархут не ведал. Да вот теперь, в седую старость...

Духи молчали. Сны раздирали душу.

Нет уже сил! Угли в очаге вспыхнули ярче. Хархут разметал их по земляному полу. Рыжий червяк пламени закопошился в соломенном ложе. Хархут откинул полог у входа, чтоб ветер питал огонь. Красные языки запылали то тут, то там. Оленья кожа чернела. От жара задрожал воздух. Белка пламени прыгнула на сухой дуб — задымил, запылал и он.

Широкие стебли травы колыхались у ног Хархута. Только старый-престарый бубен взял он с собой. Пожар догорал далеко за спиной.

«Должно быть, что-то сильное завелось в моей юрте. Облюбовало место, в котором жил я, — думал Хархут. — Пусть облизывает теперь огарки костра».

Жёлтым колесом катилось солнце. Жемчужные облака плыли





в вышине, до которой не достать ни одной птице. Сверчки пели в траве. Ветер раздувал седые космы Хархута. Бодрящий воздух заставлял дышать во всю грудь, заставлял кровь приливать к щекам и зажигал в глазах огонь. Не успел пепел осесть на землю, а тревоги Хархута уже улеглись.

Стаял снег. Сочно-зелёными волнами шевелилась трава. Мысли летели далеко вперёд, неслись над самыми стеблями трав, купались в лучах, поднимались с ветром в небо, вместе с зайцами бежали от норы к норе.

День прошёл яркой радугой, просвистел стрелой. Солнце уплывало за горизонт. Хархут расстелил на траве плащ из бычьих шкур, бубен положил под голову. Всё так же без усталости пели сверчки — как утром. Глаза слипались в ожидании сладкой тишины, покоя. Глаза закрыты. Но... Вдруг — выжженная земля... люди-куклы деревянными руками роют почву в мрачном молчании... Хархут вздрогнул, замахал руками, отгоняя сон. С небес бледным ликом глядела луна.

Неописуемо то, что было в этот миг у Хархута в душе. Его сердце превратилось в комок боли. На лбу выступил пот.

«Нет! Не одолеть меня в этой битве! — крикнул он. — Не пришёл ещё миг сложить кости. Я сильнее во стократ любой беды. Пусть попробует найти меня в море зелёных степей! Пусть попробует нагнать, когда ветер подхватит меня на плечи и унесёт за Край Земли! Никакой силе не угнаться за старым волком! Пусть седина в его шерсти, но в лапах — прыть былых погонь. Что ж, пусть пробуют злые виденья найти меня... Не так-то легко это выйдет!»

Только встало солнце, а следы уж исчезли.

Жаркие дни сменялись дождливыми. Бессчётным множеством рыскали звери по просторам бескрайних степей. Золотой покров звёзд накрывал небосвод по ночам. Ветер менял пути, сдувал следы. Дробный ход времени утекал в пустоту;



капли росы, стекая со стеблей, рубили его на куски и растворяли в снопах солнечных искр. Секунды срастались в минуты, минуты в часы. Проходили дни. Проходили недели. Неповторимые дни и недели. Да и бывают ли одинаковыми формы туч на небе, сочность их красок, близость к земле?

А время всё идёт, струится шумным потоком, точка камни.

2.

Бескрайние, безлюдные земли остались за спиной у Хархута. Без дрожи в душе покинул он степь — свой старый дом, к которому так привык. Рыжая пустыня... каменные холмы... дремучие леса... седые пики гор... Ноги несли всё вперёд, к неуловимой черте горизонта.

Уже осень. Опадают листья, желтеет трава. Крепчает ветер. Всё чаще ливни ложатся на землю дымчато-серым плащом. Солнце горит ещё летним жаром, но утренних звёзд не обмануть — они чисты и холодны, точно после морозных ночей. А Хархут не видит ничего вокруг. Он идёт и идёт. Он бежит. Ночью... Стоит ли говорить, что во снах? Ущербный чёрный мир, неестественные фигуры, роющие яму. Не скрыться, не убежать... Полмира истоптано. И Народа Полыни всё нет. Да и будь они где-то, не сгинь в водовороте народов — чем бы смогли помочь? Жизнь их сама как сухая трава — вспыхнет, и нету. Однако были и ночи — и мысли о них в голове. Много воды утекло. Дети Полыни были сильны и храбры. Жизнь влекла их своим потоком — старики сменялись юнцами; идеи новые приходили в их головы. Тесно им стало в степи. Новые земли влекли. Но Хархут не хотел уходить: зачем, ведь было здесь ему хорошо. Но Дети Полыни ушли без него... Хархут думал, они вернутся. Без героя всемогущего, без заклинателя духов и вещателя законов будет им тужо. Но они не вернулись. Быть может, Дети Полыни дали



жизнь многим сильным народам. Наверно... Но Хархута это не волновало. Их жизнь — это их жизнь. Но он надеялся — тогда, давным-давно, — что много горя они хлебнут, уходя без него по берегу юной ещё реки...

Теперь вновь степь под ногами Хархута. Впереди полноводная река — широкая и буйная, точно дикая рысь на цепи. А значит это лишь то, что скитаясь, не разбирая дорог и сторон света, Хархут вернулся туда, где ранней весной, когда снег ещё покрывал траву, он лежал у углей очага. Вернулся туда, где некогда стояла юрта — сейчас лишь горстка пепла.

Хархут опустился на землю.

Как много сил впустил! Не обмануть видений, не запутать следы, не спрятаться. Что-то внутри тяжелеет — там, в груди — наливается горькой полынью, жжёт. Не хватает дыхания — воздух не желает затекать внутрь. Ноги тяжелеют... А в мыслях...

А в мыслях... В них что-то сухое, жёсткое — заставляющее невольно слезиться глаза. Уже, кажется, есть там что-то, есть ключ к разгадке... Но он так горек. Есть догадка... Но от неё сердце обливается кровью и хочется выть по-волчьи.

Меж тем какая-то злоба копошиться в груди. Непроизвольно сжимаются мышцы. Скрепят зубы. В глазах зажигаются красные искры.

Пауком подкрался вечер. Ещё один вечер среди множества недобрых вечеров.

Быть может, на этот раз удастся призвать к себе духов?

Из редких в степи деревцев и серо-зелёной полыни вспылал костёр. Задымила трава-живокость, от которой слепые глаза обретают вновь силу. Красным цветком вспыхнул пучок востреца. Загудел от жара корень волчьей лапы, разбавляя удушающую мглу сладким запахом мёда.

Немощный старик — свидетель трёхсотой зимы, дед-всех-отцов — лежал в дыму магического костра, в пряном тумане





безумных снов наяву. Искры взлетали вверх. Костёр-солнце блуждал во тьме. Точно сердце — звук бубна: могучие удары, волны, бьющие о скалы, ход крови в венах. Глухой удар... ещё один... Дым раздвоенным языком тянулся к чёрному небу. Дым дрожал покрывалом, за которым — неведомое, бесплотное.

Какие-то тени поднимались на границе света. Их еле видно — одни лишь фигуры, и те текут водой, изворачиваются скоморошым кривляньем; то вырастут у них крылья, то рога с петушиными гребнями...

Стук копыт. Гул ветра, кружившего дым воронкой. А тени всё дрожат, кривляются, пляшут.

Будто иглы воткнулись в Хархута. Он гнал страх, но тот не уходил.

— Мои виденья... Отчего они... за что они?

И тут голос — певучий и мягкий, чистый, точно трель соловья:

— Ты слаб. Ветер высушил твою кожу. Время сожгло волосы. Разве не знал ты, что смерть приходит ко всем? Она — гостья, что захаживает к каждому. Как ко всякому Великому она пришла к тебе в стране грёз. Она явила свою тень, дабы знал ты, что вслед за тенью придёт и её хозяйка. Неужели это неизвестно тебе? Не ты ль великий мудрец? Ты знал... Последняя зима осталась для тебя, Хархут. Почему ты невесел?! Расчеши свою бороду! Пляши вместе с ветром, пой с птицами! Налей в кубок вина! Сзывай старых друзей! Разве не для того смерть явила свою тень, чтоб ты провёл последний год в развлечениях и пирах? Не для того ли, чтоб ты встретил её, как Герой? Не многим дарована такая честь... Совсем не многим... Радуйся!

Но что ответил на это Хархут? Его будто ранила молния. В глазах запылал дикий огонь. Он уже не шептал, а кричал:

— Но в мышцах моих ещё много сил!!!

В ответ — тишина.



— Да разве не я мудрее мудрых?! Разве не я побеждал в тех битвах, в которых нельзя победить?! После всех подвигов, что я совершил...

— Думаешь, ты заслужил бессмертье, старик?

И весёлый, как звон колокольчика, смех пронёсся, затихая вдали.

Розовой полосой на востоке начался новый день. Что принесло это утро? Лишь холод да росу.

Хархут всё в той же позе — ноги скрещены, ладони лежат на коленях. Он не заметил утра. В голове его — ночь.

«Что ж... выходит, нет спасенья. Никакие уловки не помогут. Я могу обмануть лису, могу обмануть самых хитрых врагов. Могу обмануть свою тень, если этого захочу. Но смерть...

Нет!!! Не взять меня без боя! Пусть попробует!.. Пусть явится!.. Посмотрим, у кого острее когти! У кого в жилах огонь вместо крови!»

Вновь эти искры в глазах старца! Опять горят и будут гореть, пока с последним ударом не застынет сердце!

«Смерть нашла меня в степи, нашла в лесах и горах. Она ищет меня на земле. Пусть попробует отыскать меня в студёных водах гремучей реки!»

Подумав это, он сорвал с себя плащ и бросил на воду. Тайные слова сорвались с губ, и вот вместо плаща на волнах качается широкий плот.

Бурлит река. Клыками спускаются к воде берега. Взлетают брызги и пена. Гудят водовороты. Из воды вырастают скалы, подобно плавникам огромных рыб. Паток хочет вырваться из берегов — из клятых оков, туда, в бесконечность, где можно течь вечно... Хархут правит свой плот, не страшась ничего. Хрупкие кости, слабые мышцы — было ли это? От старости — лишь белые космы, растрёпанные ветром.



День прошёл, второй на исходе. Брызги секут лицо. Брови нахмуренны. Весло вросло в руки. Плот несётся по бурунам — трещат брёвна. Мышцы вздуваются буграми. Глаза устали смотреть, как берега проносятся мимо.

Опускается вечер. Блестят звёзды. Медленно ползёт по чёрному небу луна. Гнать сон от себя! Да разве с этой рекой уснёшь?

От ледяной воды покраснели руки. Холод клещами впился в тело. Одежда промокла, сделалась тяжелой, как каменная броня.

Но холод — пустяк, пока в груди что-то бурлит, как лава, стекающая с вершин дымящихся гор.

«Что ж, поймала меня?! Не бывать этому! Выходит, я уже мертвец, осталось лишь душу вынуть?! Нет, не бывать этому! — До боли в голове вертелись яростные мысли. — Врёшь! Я ещё поборюсь! Поборюсь, покуда кости мои не сотрутся в муку!»

Закатилась луна, и мир окунулся во тьму. Звёзды метались в беспокойной воде, словно испуганные светлячки; сводили с ума, будто внизу открылась пропасть с сотней блестящих глаз.

Из ниоткуда появился валун, огромный, как драконья голова. Но Хархут изловчился, отвёл гибель... Поток швырнул плот на берег, вставший каменным хребтом. Хархут налёг на весло... Плот завертело так, что перед глазами поплыли круги. Но и здесь он прошёл мимо смерти.

И так — целую ночь.

Да что там ночь? Солнце всходило и гасло в шипящих водах.

Глаза у Хархута покраснели от усталости и бьющего в лицо ветра. Мышцы стонали от боли. Кожа задубела. На ладонях вздулись пузыри.

Хархут терпел. Он искал боли, которая помешает ему заснуть. Адской боли, отгоняющей любой сон.

Что угодно, лишь бы не сон!

Что угодно...





Угольным цветом окрасились облака. Огненным ножом блеснула молния. Град захопал по воде, застучал по скользким брёвнам плота. Всё скрылось в пелене летящих градин.

Льдинки рассекали кожу — она покрылась бусинами крови. Осколки небесного льда засыпали плот, они хлестали и хлестали по спине, по ногам, путались в волосах. Всё тяжелее было стоять... Но ещё бушевало в груди пламя, рвалось наружу, разрывая рёбра! И только крепче сжимал зубы Хархут.

Тут град прекратился, обрушился ливень, каких давно не было в здешних местах. В одночасье размыло землю, и грязь водопадами хлынула с берегов. Вода реки и струи, бьющие с неба, смешались.

Но и это не сломало Хархута.

Он стоял прямой, словно жердь.

Одна мысль была в его голове:

«Что угодно, лишь бы не сон! Что угодно...»

Но тут случилось то, чего он боялся — река подвела.

Гранитно-серые скалы обратились пологими берегами. Течение стало спокойным. От воды потянуло запахом гниющих водорослей. Болотный смрад ударил в ноздри, а в ушах зашумели отвратительные жабы «песни». В бледно-жёлтых камышах шевелились гады.

Опасность разбиться о камни, быть смытым потоком и проглоченным водоворотами пропала. А вместе с ней пропали и силы бороться со сном.

Ноги стали подламываться. Чёрная тьма гудела в голове. Мышцы обмякли на костях, точно студень.

Веки тяжелели. В груди... только слабое биенье измученного сердца.

Пять суток провёл он без сна, борясь за свою жизнь. Пять дней и ночей на грани рассудка. Сжигаемый болью и страхом...



сжигаемый гордостью. *Разве может стереть коснуться меня? Разве может она победить того, кто ни разу не проигрывал в битве? Разве не заслужил я... Разве не заслужил я жить веч... Так для кого же сотворён этот мир? Не для меня ли?*

Но он ещё пытался стоять на ногах.

Нельзя бездействовать!

Слабыми руками Хархут поднял из воды весло, сел, положил его на колени. На ладони появился бронзовый нож.

Нестерпимых усилий стоило Хархуту вырезать в дереве глубокое «ложе». Он вырвал клоч седых волос. Он помнил, как звенела тетива; как бурлила кровь в жилах, когда стрелял он из лука, добывая дичь. Перед глазами плыли круги, невольные слёзы делали мир блеклым, погружённым в молочный туман. Хархут напрягал глаза. Он плёл. Плёл струны, когда день приближался к концу.

Облака зажигались оранжевым. Замерцала первая звезда — Звезда Пастухов.

Хархут приладил две струны к «ложу».

— Кобыз! — сорвалось с его обескровленных губ.

Он провёл ладонью по струнам. Они задрожали в истоме рвущихся наружу звуков.

В надвигающихся сумерках замолкли жабы. Перестали шуметь камыши. Болотная вонь исчезла, растворившись меж звёзд.

Хархут ударил по струнам. Закружились вихри. Где-то вдалеке затрещали деревья. Камыши стали трухой взлетать в воздух. Небосвод задрожал, и потускнела Луна.

«Что за чудо — кобыз! — рвалось из груди. Но уже ночь. Сил всё меньше. — Только бы ночь продержаться! Одну всего ночи!»

И он бил по струнам. Он драл пальцы в кровь, а звуки кобыза шевелили ночной холодный воздух. Песни слетали с Хархутовых губ и носились во тьме белыми птицами. Что было в них, в



этих песнях? Только знает холодная река, рвущая свои оковы, да далёкие звёзды и молчаливые рыбы. Может, сказы о боли и вечной любви? Может, славные битвы старых дружин и радость цветка, растущего к солнцу... Может, свежий ветер и жар ханских огней... Некому рассказать об этом. Только безъязыкая ночь слушала песни... Слышала, как слабо трепетало сердце в старческом теле. Да может, это и было той самой песнью?

Заалел рассвет. Хархут повалился на брёвна. Сил не было даже дышать. Сквозь полузакрытые веки он видел, как высоко в небесах летали птицы, как они играли, кружа в воздушных потоках. Как плыли белые облака — нежные, словно детские щёки, высоко парящие, точно пух на ветру. Он видел: из золотисто-красного света вырастает пламенный город с бронзовыми воротами. Стены из слоновой кости сияют бриллиантами, изумрудами, золотом. Шум весёлой толпы за теми воротами. Звенит сталь — то бьются древние воины на вселюдных пирах. Сияет радуга — это пролился мёд из их резных кубков. И вдруг резкий птичий крик — неприятный, страшный. Крик птицы, что водится лишь в глубинах провидческих снов.

Бронзовые ворота медленно открылись.

3.

Скоро зима.

Ветер ревел, стонал. Клином летели птицы, уходя от холодов. Рычала лиса, прижавшись к земле.

В низких домах жили люди. Они стригли овец, шили одежды. Они учили детей стрелять из лука и ждали зимы; ждали, когда загорятся костры, и жар их сразится с иглами стужи. В их домах был покой и сладкая тишина, которую не ведают иные Герои.

Бездыханное тело старца вынесло на берег, когда вода стала покрываться тонким льдом.





— Хархут, — шептали люди. — Хархут...

Перед ними лежал тот, о ком слагали легенды. Тот, перед кем падали ниц великие ханы.

Лица людские потускнели бледностью скорби — пал повелитель. Пал в тяжелой битве, о которой им никогда не узнать.

— Смотрите! Смотрите, что он держит в руках!

И человек поднял кобыз. Странно легко разжались мёртвые пальцы.

Человек провёл ладонью по струнам. Они зазвенели, рождая улыбки в лицах. Но в улыбках была и грусть...

Да, пусть были нерешительными эти касанья струн. Но в первый раз в руках людей рождалась музыка. Не тайные звуки шаманских камланий, а музыка. В этот день она вошла в жизнь человеческую и осталась навечно — в горе и в радости, под солнцем и в тёмную непогоду. Оглянитесь вокруг, всё начиналось тогда, из весла и седых волос вещего старца. И, быть может, он ещё жив, жив в каждой ноте... Он победил? Кто знает... Да только всё ещё поются песни.

А что же Хархут? Самые большие почести были отданы старцу. Все люди рыли ему могилу голыми руками. И был, говорят, курган над его прахом, огромный, точно гора. И многое ещё говорили чудесного про ту могилу. Будто, если положить на неё кобыз, то он сам начнёт играть что-то... что-то стонущее, жалобное. А на его деревянной поверхности проступят слёзы. Говорят, что и сейчас можно найти тот курган, где-то там, у гремучей реки. Но ты не верь этому. Уже многого нет. Курган сравнялся с землёй. Исчезла степь и люди, что жили в ней. Забылись имена. И только река течёт, бурлит: днём и ночью, летом и зимой, под пологом льда. Она точит берег, наваливается на него всей своей силой, бьёт, крушит, ломает. Но берег стоит неприступной стеной. И так день за днём, год за годом — целую вечность.



ШАШОРИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВИЧ (ВИКТОР ДАРОФФ) О бедном варнаке

*Казак без усов?
Эдуард Володарский, «Баязет»*

Плач церковного колокола пробудил Степаху ото сна. Тоскливый звон прорывался через завывания вьюги. Выбравшись из-под мешковины, служившей ему покрывалом, чихнул и обтёр губы. Щетина не впилась в мозолистую ладонь, ибо не росла ещё. Степахе привычна была гладкость собственного лица.

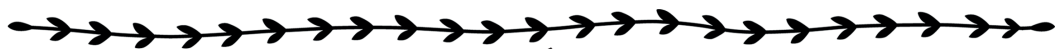
— Не спишь, православный¹? — тихо поинтересовался кто-то из темноты.

У Степахи волосы встали дыбом на затылке: приглядевшись, он будто чёрта увидел.

В углу халупы, куда даже блика от свечи не падало, на низких нарах, прищурившись хитро, сидел потрёпанный жизнью мужичок, заросший мохнатой рыжей бородою по самые брови — ещё более густые и кустистые.

— Чего тебе надобно... старче? — спросил Степаха, не зная как поприличнее обратиться к гостю ночному незваному нежданному.

¹ Реминисценция вопроса из мультфильма Юрия Ковалёва «Смех и горе у Бела моря».



— Да ничего, — усмехнулся бородатый. — Просто поглядеть пришёл. Узнать, что на Дону нынче деется. Расскажи, казак.

— Узнал откель, что я казак? — поразился Степаха.

Был он в одной рубашке льняной и портах. Укрывался пеньковым полотнищем. Ни папахы, ни шаровар, ни сапог: ничего на нём казака не выдавало. Да и не говорил он ни с кем по приезде затемно, кроме надзирателя, который запихнул его в карцер, запер снаружи и ушёл.

— Казака и под рогожкой² видать, — витиевато ввернул пословицу бородатый, пригладил встопорщившиеся от самодовольства, как у кота, усы и спросил: — Звать тебя как?

— Степаха, — разрешил Степаха.

— Добро, — кивнул бородатый. — Меня Остапкой по молодости кликали. Теперь только Остапом Тарасовичем величают или «Подь сюды!».

— Весёлый ты, дед, — похвалил его Степаха, посмеявшись от души, но не в волю — в полголоса лишь.

— Что есть, того не отнимешь, — снова усмехнулся Остап и похвалился. — Шуток-прибауток много знаю. Наслыхался-навидался.

— А здесь каким чудом оказался? — стишком — в рифму — справился Степаха.

— Чудо то одному мне ведомо, — прищурившись с хитрецей отвечивал Остап, не потешив словами такими Степаху, а лишь больше напугав, и, видя это добавил: — Лаз тайный для нужд особых здесь имеется. Нужда пришла покалякать — пролез, — и попросил на другой лад. — Расскажи, что на Дону творится?

— Не с Дона я, — начал Степаха, и, увидев грусть в глазах старика, поспешно добавил: — С Кубани. Бунтует вся сейчас.

² Мешковина ткётся из грубой пряжи, основу которой составляют волокна конопли — т.н. пеньки. В быту эта ткань называется рогожей.



Насильно хотят там оставить нас — переселить. Старшие порешили на Дон уходить. Сумели или нет — не знаю: в дозоре меня скрутили и отправили куда подальше. Так здесь оказался.

— Я тоже после бунта на этот «двор постоялый» заехал. А раньше сражался бок о бок с Емелькой Пугачёвым... Уж второй десяток здесь «щи хлебаю».

— Долго, — посетовал Степаха.

— Да, — кивнул Остап, горько поджав губы, но сразу же усмехнулся: — Но я уже как-то пообвык. Работать уж не заставляют и ладно.

Прозвучало это совсем невесело.

— Свобода — плата за право под гнётом не жить с Божьего позволения, — глубокомысленно констатировал Степаха, припомнив занятия в латинской семинарии.

— Казаки никому не кланяются, — согласился Остап.

Степаха примолк, размышляя, что делать теперь.

— Коль обо мне запечалился — брось! — потребовал Остап, и припечатал пословицами. — Пташка не без воли, казак не без доли. Я ещё шашкой помахать хочу — нехристям головы поотшибать!

В подтверждение своей удалости, он сжал в кулак узловатые пальцы, поднял правую руку и ударил ей наотмашь, так, будто сидел на боевом коне, а не привалившись спиной к бревну.

— Ерзучий ты, дед, — чуть ехидно подметил Степаха, заразившись его воодушевлением.

— Приукрашиваешь ты меня, — Остап несогласно повёл плечами. — Я, конечно, и швец, и жнец, и на дуде игрец, и в хоре певец, и в бою молодец. Но своё место знаю, ибо устойчивый. А вот мой батяка беспокойный был действительно, по всему Дону носился.³

³ Игра слов: в переводе с Тарас значит беспокойный, а Остап — устойчивый.



— Ох, ты ж бахарь бородатый, — восхитился Степаха. — Что не слово, то присказка.

— Прав ты, однако, — согласился Остап, будто опомнившись. — Скоро сказку сказываю, да не скоро дело делаю. А дело у меня к тебе есть.

— Ты ж говорил просто так пришёл, — напрягся Степаха.

— Назрело, — признался Остап, и доверительно наклонившись вперёд зашептал: — Ты, как удирать отсель вознамеришься, про меня не забудь.

— С чего взял, что я удирать отсель вознамерюсь, — эхом отозвался Степаха.

— Казак казака зрит издалека, — шуточно переиначил старую пословицу Остап. — Казак казаку доверяет, — добавил он серьёзно. — Ты покумекай над этим, а я пойду — скоро караул сменится, меня хватиться могут. Прощевай!

И вылез через дырку в задней стене, что была досочкой прикрыта, незаметная, в тёмном уголочке.

Сухонький оказался дед.

Пытаясь расслышать за плачем вьюги его шаги, Степаха с головой забрался под шкуру, чтобы уши не мёрзли, и задумался.

Кого он жалел?

Не себя. Только мамку. Одна-одинёшенька осталась она в станице. Без кормильца.

Кем мог гордиться, чтобы не унывать?

Атаманом Рубцовым, поднявшим бунт.

Кому он мог поверить здесь — в чужой земле, куда Иван телят не гонял?

Степаха по-стариковски усмехнулся: после беседы с бахарем бородатым — понравилось ему так кликать деда мысленно — в голове, будто пчёлы, зароились поговорки.

Внимая их сладкому гудению, Степаха задремал.





За дверями карцера его поджидала тяжкая жизнь на каторге.

Прежде всего надзиратель собственноручно отвёл «свеженького добытчика» к коменданту крепости, которых приглядывал и за рудником. Там Степахе был учинён въедливый допрос.

— Имя? — потребовал Иван Александрович — так было велено к нему обращаться.

— Степан, — сказал Степаха.

— Отчество?

— Нету.

— То есть как «нету»? — нахмурился Иван Александрович.

— Нету у меня отчества — батки своего не знаю, — признался Степаха.

— Под чьим началом служил?

— Никиты Белогорохова, — честно признался Степаха.

— Понятно всё с тобой, — комендант закрыл книжицу, в которую грифельным карандашом записывал ответы Степахи, и, не удосужившись дать объяснения, что понятно, распорядился:

— Конечно, нет у тебя отчества, ты же против отчества пошёл.

— Дон — моё отчество, — набычился Степаха. — Ещё Иван Грозный пожаловал казакам грамоту на вечное владение им.

— Только вот Пётр Великий лишил вас привилегий. Теперь вы часть русской армии!

У Степахи в груди дыхание спёрло, мысли запутались.

Обернувшись к надзирателю, который его привёл, комендант приказал:

— Отведи этого смутьяна в шахту и выдай инструмент. Пусть хоть какую-то пользу принесёт России!

Так Степаха угодил прямиком в Нерчинский хребет:





скатился, словно снежок с ледяной вершины, напрямик в пропащую пропасть — на самое донышко рудника.

Сказать, что тяжело ему пришлось с непривычки — ничего не сказать. Но через три недельки пообвык.

Одна лишь грусть: в церквушке ближней заутренние молитвы с вечерними сливались. Гудело на колокольне, как при вьюге. Но не из-за неё хоронили...

Надсмотрщик местный злыднем⁴ оказался.

Каждый каторжанин его Катькой звал просторечно втихаря. Узнавал — порол. Кать он был самый настоящий — заплочных дел мастер.

Смельчаков от него вперёд ногами выносили.

А потом некому зубоскалить стало...

И ещё кое-что Степаху беспокоило: голодать он начал.

Остап, как выяснилось, не в шутку поминал щи. Только их здесь и хлебали... или мясо вяленое... коее совсем не ловлей добывали — кто за околицу селения выходил, на веревке назад возвращался.

Разузнал Степаха, откуда варнаки⁵ снесь брали.

Оказалось, своим трудом себя обеспечивали.

То и дело на прииск к ним заезжал армянин Левон.

На кобыле гнедой.

Лев горный... лев гордый⁶.

Сильный да ловкий.

Ни зверя, ни человека не боялся.

Даже Катьку!

Соболей в тайге окрестной промышлял.

На рудник наведывался вроде бы, чтобы с каторжанами лясы поточить.

⁴ У украинцев демоническое существо, враждебное человеку.

⁵ Каторжники.

⁶ Арслан в переводе с тюркского «лев».



А на самом деле помощь оказать.

Говаривали, сам из каторжников был.

Варнаки, не споря, самородки споро ему носили: за щеку или под язык прятали крохи незаметные, коих не хватает.

Потом желудки «царскими кушаньями» согревали; бывало, и дичь едали: Леон хорошим был ловчим.

Степаху тоже приноровился так.

Неплохо ему существовалось: кайлом, будто шашкой, махал, серебро ковырял, мелкие крупички сохранял, накапливал, раздумывал.

С Остапом за ужином, бывало, беседовал — о бегстве, что греха таить, говорили. Совсем истаял старик. Глядел на него Степаху и разумел: «Тянуть нельзя...».

Решил Левону довериться.

Подстерёг как-то охотника недалеко от родника незамерзающего, где тот кобылу поил, а для кухни каторжной и крепостной водицу брали, и спросил без обиняков:

— Тропы вокруг знаешь?

— Все тропы знаю! — ответил армянин. — Отсюда хоть до самой Москвы доскачу, если надобность возникнет.

— Меня с собой возьмёшь?! — выпалил Степаху.

Возрадовался он. Думал, придётся просить, уговаривать, а Леон, смотри ж ты, сам готов мчаться.

Прищурил армянин глаза, воззрился на казака оценивающе с высоты своей лошадёнки, сказал:

— Принёсешь два кулака серебра — поскачем, — и сжал пальцы, чтобы показать сколько; лапищи ему Бог дал оного.

— Да я и на своих двоих — пешком готов идти, лишь бы подальше быть, — признался Степаху.

— Коня я тебе добуду. Иначе от погони не уйдём, — твёрдо возразил Леон.



— Двух коней, — потребовал Степаха, не забывая про Остапа, но не поминая того в разговоре — нутро подсказало смолчать.

— Два коня — две цены, — просто пожал плечами армянин, и подвёл итог: — Двоих возьму — больше никого.

На том ударили по рукам. Оба тайну хранить обещались, чтобы ни один на плаху не попал.

И побежал Степаха в сызнава руду ковырять. Легко побежал — за спиной будто крылья выросли.

Надолго его хватило. От всей души рубил. Мелочь подбирал.

Семь потов сошло, пока горсть самородков наскрёб. А потом ещё семь. Но сумел-таки, справился!

Отнёс половину Левону как залог — порешили на следующий день в скачку коней бросить, — а когда в барак возвращался — на Катьку напоролся. Скрутил его надзиратель, бросил в лапы своих подмастерий — подпалачников — и пошёл обыск учиняться. В подушке всё оставшееся добро нашли — больше оговоренного Степаха и не нарубил: так на волю хотел, что о запасе не задумался.

Зачем?

Казак нигде пропадёт. Это он знал и без бахаря бородатого...

Под пыткой плетью Левона не выдал.

Комендант недолго судил-рядил: приказал в забое у вершины горы приковать⁷, чтобы все видели, как ему Катька посоветовал.

Кафтан-зипун у Степахи отобрали, всучили тулуп овчинный, дровишек ему принесли и огнива, чтобы и ночью поглядеть на него можно было.

Катька собственноручно кол железный в скалу вбил, а когда ушли его подпалачники, с горы спустились, из вида скрылись, сообщил доверительно по-доброму:

⁷ Отсылка к событиям сказа «Медной горы Хозяйка».



— Дурак ты, паря. И Остап рядом с тобой будет, как поймает.
У казака аж колени задрожали. Где стоял — там и сел.
Прямо в сугроб.

Катка, довольный горем чужим, ослабился и тоже в крепость подался.

А Степаха на горе остался... Умирать.

Но до того как он Богу душу вознамерился отдать, камешки из глубины забоя посыпались. Страшно Степахе стало: неужто обвал? Посветил он блендочкой⁸ в темноту. А оттуда Остап.

— Ты как здесь?.. — начал Степаха и задохнулся от удивления.

— Да я уж всю гору успел излазить, так давно уйти хочу. Только вот попутчика доброго не находил... до тебя.

Настолько расчувствовался Остап, что всплакнул: скупая слеза скатилась из левого его глаза пронзительно-ярко-голубого, как лазурит, скользнула по бороде и застыла от порыва ледяного ветра.

У Степахи ком в горле застрял будто.

— Крепко держит, — сказал Остап, справившись с собой, и, ощупав быстро коченеющими пальцами цепь, стянувшую сапог Степахи, и заклёпку, её держащую, подметил: — Заступом не перешибёшь.

Затем глянул на приунывшего казака безусого молодого, по наивности честной пленённого, подбодрить того попытался:

— Благо не жарко сейчас, а то бы голую лодыжку окрутили — стопку бы отморозил, на деревяшке бы скакал, не на коньке — постукивал.

— Да, — кивнул Степаха смурно, тоску скрыть не сумев — снедала.

⁸ Рудничная масляная лампа.



— Ты это... киснуть брось! — накинулся на него Остап, за плечи схватил, потряс... поклялся. — Я тебя высвобожу, способ отыщу! В руках силы мало, но голова ещё дурная, ногам в покое отказывает.

— Не надо, батька, — Степаха впервые обратился к Остапу, словно к отцу родному, коего никогда не имел. — Я до весны протяну, а там может комендант сжалится.

Лгал он и себе, и Остапу: восход золотой увидеть — уже счастье.

— До весны мы оба дотянем и ещё на Дону погуляем, — буркнул бахарь бородатый, бодрясь, бахвалясь, и, не прощаясь, похрамывая, в потёмки убёг. Потом с кучей хвороста вернулся, сбросил со спины, искры огнём высек, запалил огонёк, к скале привалился, будто к брёвнышку, и стал со Степахой ночь коротать, были сказывая. О молодости своей, о невесте в станице покинутой, о всякой всячине.

Степаха его не слушал. У костра кое-как закемарил, а когда засветало, продрал глаза — видит, Остапа нет, потому как сообразил батька что коменданту «пред ясны очи» лучше не попадаться, а тот тут как тут.

Иван Александрович шёл по мощёной улочке селения. Рядом с ним шёл какой-то незнакомый Степахе барин: шуба каракулевая, сапоги под лаком, башка вихрастая — не покрыта. Комендант явно показывал недавно приехавшему свои владения. Встречные каторжане низко ему кланялись и ломали шапки, прижатые к груди, боясь расправы и над собой. Иван Александрович будто не замечал их.

— Слышь, Кусков! — небрежно фамильярно окликнул его барин, и, привлеки внимание, поинтересовался, указывая на Степаху, замершего недвижимо, концом дубовой трости. — А это что... или кто?



— Донской парубок. Голытьба. Участвовал в Есауловском бунте. Попал под моё попечительство. Пуд серебра украл. Горько наказывать, только вот необходимо. Чтобы другим неповадно было. А то всю Россию разворую и распродадут, — ответил Иван Александрович, что даже на горе было слышно, а уж окружавшим его варнакам тем более.

— Неужто пуд? — воскликнул барин недоверчиво.

— Целый пуд! — заверил его комендант.

— Да не пуд, — просипел Степаха. — И полпуда не было. Даже осьмушки!

Но его никто не услышал.

Комендант с хромящим барином доковыляли до конца улочки и скрылись в шахте.

Потянулся длинный день. До самого вечера Степаха трудился в забое, чтобы согреться.

Как смеркаться начало, хотел в костёр догорающий, пеплом подёрнувшийся, подбавить «подкормки», но передумал. Гадостливо у него было в нутре. Повесили на него всех собак — «целый пуд». Никогда ему с горы не спуститься. Остап не подсобит. Придёт срок — не сдюжит и костыми ляжет прямо здесь. Чёрные мысли бродили в голове казака...

Сидел он, не шевелясь, у огнища⁹ и бичевал себя страшными словами.

Когда заскрипел наст за спиной — не обернулся.

— Слышь?.. Не очоурился? — спросил кто-то.

Степаха промолчал. Не потому, что губы слиплись от холода — чесать языком не хотелось.

— Спишь? — не отставал кто-то.

Степаха не ответил.

⁹ Место с остатками костра



Кто-то сел напротив него на валун, ещё помнящий ерзучего бахаря, и начал рыться в костре.

Темно уже стало. Единственное, что смог разглядеть Степаха, разлепив тяжёлые веки — набалдашник то ли сабли, то ли чего ещё: воткнул это гость ночной незванный нежданный рядом с собой в снег. Сверкнуло серебро в свете звёзд: ночь-то совсем безлунная была. Блеснули глазки рубиновые над мордой тупоносой. Змея, мастером искусным выплавленная из металла чистого, будто поглядела на Степаху. Хозяин её был одет в шинель¹⁰. Маковку колпак согревал.

— Солдатик в схватке дозорной зарубленный, меня с коня стащивший и скрутить силившийся, явился счёты свести, — решил Степаха, но снова ни слова не проронил.

Кто-то, тем временем, откопал едва тлевший уголек, в долгую трубочку бросил, задымил слабенько, предложил:

— Закуришь?

— Побрезгую, — выдавил из себя казак.

«Брать у мертвяка хоть малость — к живым не вернуться».

— Очень зря, — хмыкнул солдатик, пожевал мундштук и осведомился, будто невзначай: — Тебя за что, как собаку, на цепь посадили?

— Серебро утаивал, чтобы за побег расплатиться. Объехали меня на сивой кобыле, — нехотя ответил Степаха, щурясь от боли — правда сердце ему колола.

— А каким ветром тебя вообще сюда занесло? — спросил солдатик.

— Не чую, — буркнул Степаха.

— Видать, судьба такова, — сочувственно посетовал солдатик.

¹⁰ Солдаты использовали шинели во время зимних военных действий и в 1792 году. Впервые России как униформа шинель была введена в конце 1796 года.



— Что да, то да: от неё не уйдёшь, не убежишь, не ускачешь,
— согласился Степаха, и, немного оттаяв к собеседнику, с улыбкой ему признался: — Одна дума греет — наши уже на Дону. Разметали полки государыни и пируют.

— Не приведи Бог узреть казачий бунт — бессмысленный и беспощадный¹¹, — возразил солдатик поэтично... не по-солдатски.

— А я б узрел во всей красе! — воскликнул Степаха, разумея, что не с покойником говорит.

— Может, другой узрешь... — обнадёжил его кто-то и сразу же огорошил: — Это восстание не удалось... Кого либо в Сибирь отослали, как тебя, кого на Кубань переселили... Таковы законы Империи — каждый будет страдать... Под тяжестью сребристых руд хранить ущербное терпенье...¹²

Степаха услышал лишь четверть того, что ему было сказано. Ноги у него отнялись. Уши заложило.

Не замечая, как ему поплохело, понуро продолжал кто-то, гневясь искренне:

— Всё отобрали у казака: свободу, чаяния, теперь и жизни хотят лишить. Несправедливо это!

Потянулся вперёд и схватился за цепь, которая всё также фатально держала Степаху. Но не рванул. Положил на плоский камень тут же. Всыпал, зачем то, в самое тонкое звено табаку из кисета, который, как и рукавицы, носил за поясом. Не сразу — по запаху — Степаха узнал порох и улыбнулся залихватски. У него вновь появилась надежда. А спаситель уголёк в трубочке раздул и аккуратненько на кучку пахучую вытряхнул.

Вспышка осветила высокое чело и холеную руку... барина.

Гром раскатился по сопкам¹³ и упал в расщелины.

¹¹ Аллюзия на слова Петра Гринёва из повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный».

¹² Аллюзия на стихотворение А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд».

¹³ Общее название холмов и гор с округлой вершиной в Забайкалье.



— Поспевай за мной резвей, если хочешь уцелеть, — сказал барин и, не дожидаясь казака, начал спускаться по крутому склону в лощину под селением, опираясь на трость.

Преодолев сопротивление заостеневшего тела, Степаха от всей души помчался следом.

Незамеченными пробрались оба в конюшню. Там карета стояла. Барин шубы, шапки, шаровары на пол внутри сбросил споро, сидение откинул и Степахе сказал под него забраться в короб совсем не просторный.

— Схоронись здесь пока, — велел. — Бди! Захранишь — себя погубишь.

— Спасибо, барин, — прошептал Степаха и притаился.

Барин на него сверху дорогу свою одежку навалил. Плащ-накидку-шинель¹⁴ и колпак нелепый шутовской туда же бросил — скрыл костюм маскарадный, от самого Петербурга в недрах короба позабытый.

Чуть рассвело — шум-гам на каторге поднялся.

Иван Александрович рвёт и мечет, на Катку орёт: «Разыскать!».

Тот плетью и прочими палаческими инструментами всем грозит.

А барин преспокойненько распоряжения отдаёт своему кучеру: «Запрягай».

Только выехали из конюшни, окликнул его комендант во всю глотку:

— Григорий! Ты куда это?!

¹⁴ Шинель от фр. chenille (современное прочтение: сениль, синиль — цветной шнур, пряжа, бахрома). Сениль была непременным атрибутом отделки военной одежды в прошлом, вследствие чего произошел перенос значения слова. Шинель описанного в рассказе временного периода представляла собой развитие плаща-накидки, который получил застежку на 6 пуговиц, рукава и отложной воротник.



— Подальше. Чтоб тебя от обязанностей не отвлекать обществом светским, в моём лице представленным, — витиевато отвечивал ему барин, зада с сидения не поднимая, под которым Степаха дух затаил.

— Подожди до завтра хотя бы, — взмолился Иван Александрович, мгновенно забывая о беглом варнаке. — Тяжко мне тут без общества светского. Дичаю.

— Увы, не могу, друг мой, — не сжалился над ним барин. — Дела меня зовут обратно в столицу. Задержался бы ещё, да боюсь ангину подхватить. Зима тут уж больно студёная, — он покашлял для больше убедительности и дабы на корню пресечь любые попытки уговорить его остаться, а затем заврал со знанием дела, весомо, но доверительно, так, чтобы кучер не услышал: — Посоветую тебе напоследок кое-что. Ты не переживай из-за того парубка-каторжника. Всё равно повесить собираешься, когда поймаешь. Возьми пару надёжных крепостных-добровольцев и уходи в горы. На пару дней там затеряйся. Когда на привале будете — отлучись. Выстрел. А как твои попутчики прибегут, скажи, что убил его и с обрыва тело сбросил. Не волочить же его за собой обратно! Крепостным заплати и пригрози языки отрезать, если проболтаются. И шампанского выпей: до самой Калымы на каждой каторге коменданты тебя в пример будут ставить! А этот сам без еды, без воды сгинет. Куда он денется? Зима-то суровая... Ты приври — и всё сложится. Не на Аляску же тебя отправят из-за казака.

— Ох, лукав ты, Григорий Иванович. Как чёрт лукав! — восхитился другом комендант.

Простились приятели — побряхтели в объятьях друг друга.

Потом трясучая карета из селения выехала...

Истошные крики притихли...

Сказал себе Степаха:





— Как до Дона доберусь — ватагу соберу и Остапа заберу
отсель... Все зубы отдам, но заберу!





Литературно-художественное издание

НА КРАЮ СВЕТА

сборник работ победителей и участников
Всероссийского литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро»

Составитель: О. Л. Сарафанова
Верстка и оформление: Е. В. Орлова
Ответственный за выпуск: Е. С. Колосов

Подписано в печать 29.12.2016. Усл.-печ. л. 10 п.л.;
Формат 60х84 1/16. Тираж 250 экз.

Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека»
620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина 28
Тел.: (343) 243-17-05, 240-44-55

Отпечатано в типографии
ООО «Издательство УМЦ УПИ»
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2
Тел.: (343) 362-91-16, 362-91-17

